Мартин Иден

Автор:
Джек Лондон

Мартин Иден

Джек Лондон

«…Вперевалку, широко расставляя ноги, словно пол под ним опускался и поднимался на морской волне, он пошел за своим спутником. Огромные комнаты, казалось, были слишком тесны для его размашистой походки, – он все время боялся запенить плечом за дверь или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Он лавировал между различными предметами, преувеличивая опасность, существовавшую больше в его воображении. Между роялем и столом, заваленным книгами, могло свободно пройти шесть человек, но он отважился на это лишь с замиранием сердца. Его тяжелые руки беспомощно болтались, он не знал, что с ними делать. И когда вдруг ему отчетливо представилось, что он вот-вот заденет книги на столе, он, как испуганный конь, прянул в сторону и едва не повалил табурет у рояля. Он смотрел на своего уверенно шагавшего спутника и впервые в жизни думал о том, как неуклюжа его собственная походка и как она отличается от походки других людей. На мгновение его обожгло стыдом от этой мысли…»

Джек Лондон

Мартин Иден

Глава 1

Шедший впереди отомкнул дверь французским ключом и вошел. За ним вошел молодой парень, который при этом неловко сдернул кепку с головы. На нем была простая грубая одежда, пахнувшая морем; в просторном холле он как-то сразу оказался не на месте. Он не знал, что делать со своей кепкой, и собрался уже запихнуть ее в карман, но в это время спутник взял кепку у него из рук и сделал это так просто и естественно, что неуклюжий парень был тронут. «Он понимает, – пронеслось у него в голове, – он меня не выдаст».

Вперевалку, широко расставляя ноги, словно пол под ним опускался и поднимался на морской волне, он пошел за своим спутником. Огромные комнаты, казалось, были слишком тесны для его размашистой походки, – он все время боялся зацепить плечом за дверь или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Он лавировал между различными предметами, преувеличивая опасность, существовавшую больше в его воображении. Между роялем и столом, заваленным книгами, могло свободно пройти шесть человек, но он отважился на это лишь с замиранием сердца. Его тяжелые руки беспомощно болтались, он не знал, что с ними делать. И когда вдруг ему отчетливо представилось, что он вот-вот заденет книги на столе, он, как испуганный конь, отпрянул в сторону и едва не повалил табурет у рояля. Он смотрел на своего, уверенно шагавшего спутника, и впервые в жизни подумал о том, как неуклюжа его собственная походка, и как она отличается от походки других людей. На мгновение его обожгло стыдом от этой мысли.

Капли пота выступили у него на лбу, и, остановившись, он вытер свое бронзовое лицо носовым платком.

– Артур, дружище, погодите немножко, – сказал он, пытаясь шутливым тоном замаскировать свое смущение. – Слишком уж для меня много на первый раз. Дайте собраться с духом. Вы ведь знаете, я не хотел, да и вашим-то, едва ли, так уж не терпится на меня посмотреть.

– Пустяки! – последовал успокоительный ответ. – Вам нечего бояться нас. Мы люди простые… Эге! Мне письмо, я вижу!

Артур подошел к столу, вскрыл конверт и начал читать, давая гостю возможность прийти в себя. И гость это понял и оценил. Он был очень чуток и восприимчив, и несмотря на внешнюю растерянность, в нем уже шел процесс приспособления к новой обстановке. Он вытер лоб и посмотрел кругом более спокойно, хотя в глазах еще оставалась тревога, как у дикого животного,

опасающегося западни. Он был окружен неизвестным, он боялся того, что могло произойти, он не знал, что ему делать, понимая, что держится нескладно и что, вероятно, нескладность эта проявляется не только в походке и жестах. Он был чрезвычайно чувствителен, невероятно самолюбив, и лукавый взгляд, который украдкой бросил на него Артур поверх письма, поразил его, как удар кинжала. Он поймал его взгляд, но не подал виду, так как многому уже успел научиться, и прежде всего дисциплине. Однако этот удар кинжала ранил его гордость. Он выругал себя за то, что пришел, но тут же решил, что раз уж пришел, то выдержит все до конца. Лицо его приняло суровое выражение, и в глазах сверкнул огонек. Он огляделся теперь более уверенно, стараясь запечатлеть в своем мозгу все детали окружающей обстановки. Ничто не ускользнуло от его широко раскрытых глаз. И по мере того как он глядел на эти красивые вещи, сердитый огонь в его глазах угасал, сменяясь теплым блеском. Он всегда живо откликался на красоту, а здесь было на что откликнуться.

Его внимание привлекла картина на стене, написанная масляными красками. Могучий вал разбивался о выступающий из воды утес; низкие грозовые облака покрывали небо, а по бушующим волнам, освещенная пламенем заката, неслась маленькая шхуна, сильно накренившись, так что вся ее палуба была открыта взгляду. Это было красиво, а красота неодолимо влекла его. Он забыл о своей неуклюжей походке и подошел к картине вплотную. Красоты как не бывало. Он с недоумением взирал на то, что теперь казалось грубой мазней. Затем он отошел. И тотчас же картина снова стала прекрасной. «Картина с фокусом», – подумал он, отворачиваясь, и среди новых нахлынувших впечатлений успел почувствовать негодование, что столько красоты принесено в жертву ради глупого фокуса. Он не имел понятия о живописи. До сих пор он видал лишь литографии, которые были одинаково гладки и отчетливы вблизи и издали. Правда, в витринах магазинов он видел картины, написанные красками, но стекло не позволяло разглядеть их как следует.

Он оглянулся на своего друга, читавшего письмо, и увидел на столе книги. Его глаза загорелись жадностью, как у голодного при виде пищи. Он невольно шагнул к столу, все так же вперевалку, и начал с волнением перебирать книги. Он глядел на заглавия и имена авторов, читал отдельные фразы в тексте, ласкал книги глазами и руками и вдруг узнал книгу, которую недавно читал. Но, кроме этой одной книги, все другие были ему совершенно неизвестны, так же как и их авторы. Ему попался томик Суинберна, и он стал читать, забыв, где находится; лицо его разгорелось. Дважды он закрывал книгу, чтобы посмотреть имя автора, указательным пальцем заложив страницу. Суинберн! Он запомнит имя. У этого Суинберна были, видно, острые глаза, он умел видеть очертания и краски. Но

кто он такой? Умер он лет сто тому назад, как большинство поэтов, или жив и еще пишет? Он перевернул заглавную страницу. Да, он написал и другие книги. Ладно, завтра же утром он пойдет в публичную библиотеку и попробует достать что-нибудь из сочинений этого Суинберна.

Он так увлекся чтением, что не заметил, как в комнату вошла молодая женщина. Его заставил опомниться голос Артура, сказавшего вдруг:

– Руфь! Это мистер Иден.

Книга захлопнулась, и, прежде чем повернуться, он весь задрожал от нового, еще неизведанного ощущения, которое в нем вызвал не приход девушки, а слова ее брата. В его мускулистом теле жила обостренная чувствительность. Под малейшим воздействием внешнего мира его чувства и мысли вспыхивали и играли, как пламя. Он был необычайно восприимчив и отзывчив, а его пылкое воображение все время работало, устанавливая взаимоотношения между вещами, сходство и различие. Слова «мистер Иден» – вот что заставило его вздрогнуть.

Он, которого всю жизнь звали «Иден», или «Мартин Иден», или просто «Мартин», – вдруг «мистер». «Это, что-нибудь да значит», – отметил он про себя. Его ум внезапно превратился в огромную камеру-обскуру, и перед ним бесконечной вереницей пронеслись разные картины его жизни: кочегарки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы; все это нанизалось на один стержень – форму обращения, к которой он там привык.

Он обернулся и увидел девушку. Беспорядочные видения, возникшие в его памяти, сразу исчезли. Это было бледное, воздушное создание с большими голубыми одухотворенными глазами, с массой золотых волос. Он не знал, как она одета, – знал лишь, что наряд на ней такой же чудесный, как и она сама. Он мысленно сравнивал ее с бледнозолотистым цветком на тонком стебле. Нет, скорей она дух, божество, богиня, – такая возвышенная красота не может быть земной. Или в самом деле правду говорят книги, и в других, высших кругах общества много таких, как она? Вот ее бы воспеть этому Суинберну. Может быть, он и думал о ком-нибудь, похожем на нее, когда описывал Изольду в книге, которая лежит там, на столе. Вся эта смена мыслей, видений и чувств заняла одно мгновение. Внешние события шли своей чередой, без перерывов. Руфь протянула ему руку, и он заметил, как прямо смотрела она ему в глаза во время крепкого, совсем мужского рукопожатия. Женщины, которых он знавал,

не так пожимали руку. Они вообще редко здоровались за руку. Его снова захлестнул целый поток пестрых картин, воспоминаний о том, как он знакомился с разными женщинами. Но он откинул все эти воспоминания и смотрел на нее. Такой он еще никогда не видел. Женщины, которых он знавал. Немедленно рядом с ней выстроились «те» женщины. В течение секунды, показавшейся вечностью, он словно стоял посреди портретной галереи, в которой она занимала центральное место, а вокруг теснились женщины, которых надо было оцепить, окинув беглым взглядом, и сопоставить с нею. Он увидел худые, болезненные лица фабричных работниц и задорных девчонок с городской окраины; увидел скотниц с огромных скотоводческих ранчо и смуглых, курящих сигары жительниц Старой Мексики. Потом замелькали похожие на кукол японки, семенящие на деревянных подошвах, женщины Евразии с тонкими чертами лица, уже отмеченные признаками вырождения; за ними пышнотелые женщины островов Великого океана, темнокожие и украшенные цветами. И, наконец, всех оттеснила чудовищная, кошмарная толпа – растрепанные потаскухи с панелей Уайтчэпела, пропитанные джином ведьмы из темных притонов, целая вереница исчадий ада, грязных и развратных, жалкие подобия женщин, подстерегающие моряков на стоянках, эти отбросы портов, пена и накипь человеческого котла.

– Садитесь, мистер Иден, – сказала девушка. – Мне так хотелось познакомиться с вами, после того, что нам рассказал Артур. Это был такой смелый поступок.

Он отрицательно покачал головой и пробормотал, что все это сущий вздор, что всякий поступил бы так же на его месте. Она заметила, что рука, которую он ей подал, покрыта свежими, заживающими ссадинами; посмотрела на другую руку и увидела то же самое. Потом, скользя быстрым критическим взглядом, она заметила шрам у него на щеке, другой на лбу, под самыми волосами, и, наконец, третий, исчезавший за крахмальным воротничком. Она подавила улыбку, увидав красную полоску, натертую воротничком на его бронзовой шее. Он, видно, не привык носить воротнички. Ее женский глаз отметил и дурной, мешковатый покрой его костюма, складки у плеч, морщины на рукавах, под которыми обрисовывались могучие бицепсы.

Повторяя, что в его поступке нет ничего особенного, он повиновался ей и шагнул к креслу. При этом он успел полюбоваться той непринужденной грацией, с которой села она, и смутился еще больше, представив себе свою нескладную фигуру. Все это было ново для него. Ни разу в жизни не задумывался он над вопросом, ловок он или неуклюж. Ему никогда в голову не приходило смотреть на себя с этой точки зрения. Он осторожно присел на край кресла, не зная, куда

деть свои руки. Как он их ни клал, они все время мешали ему, а тут еще Артур вышел из комнаты, и Мартин Иден с невольной тоской посмотрел ему вслед. Оставшись в комнате наедине с этим бледным духом в женском облике, он окончательно растерялся. Тут не было ни стойки, где можно спросить вина, ни мальчишки, которого можно послать за пивом, чтобы при помощи этих располагающих к общению напитков завести дружескую беседу.

– У вас шрам на шее, мистер Иден, – сказала девушка. – Откуда он? Наверно, это было какое-нибудь необычайное приключение?

– Мексиканец меня хватил ножом, мисс, – отвечал он, проведя языком по губам и кашлянув, чтобы прочистить горло, – была потасовка. А потом, когда я вырвал у него нож, он хотел мне нос откусить.

Он сказал это совершенно просто, а перед его глазами возникла картина душной звездной ночи в Салина-Круц; белая полоса берега, огни груженных сахаром пароходов, голоса пьяных матросов в отдалении, толкотня грузчиков, искаженное яростью лицо мексиканца, звериный блеск его глаз при звездном свете, холод стали на шее, струя крови, толпа и крики, два тела, его и мексиканца, сплетенные вместе и катающиеся на песке, и мелодичный звон гитары где-то вдали. Так это было, и, вздрогнув при одном воспоминании, он подумал о том, сумел ли бы изобразить все это на полотне тот, кто написал картину, висевшую в комнате? Белый берег, звезды, огни грузовых пароходов должны были хорошо выйти, – а посредине, на песке, темная толпа вокруг борющихся. Он решил, что и нож следовало изобразить на картине, – сталь так красиво блестела бы при свете звезд.

Но в его словах ничего этого не отразилось.

– Да, он хотел откусить мне нос, – проговорил он.

– О! – воскликнула девушка, и в тоне ее голоса и в выражении лица он почувствовал замешательство. Он и сам смешался, и легкая краска разлилась по его загорелым щекам, причем ему показалось, что они пылают, как после целого часа, проведенного у открытой топки котла. О таких неприглядных предметах, как драка на ножах, едва ли удобно беседовать со светской дамой. В книгах люди ее круга никогда не говорили о подобных вещах, – может быть, они о них даже не знали.

Произошла легкая заминка в едва успевшей завязаться беседе. Тогда Руфь снова задала вопрос, на этот раз о шраме у него на щеке. Когда она спросила об этом, он понял, что она пытается оставаться в кругу его тем, и решил, ответив, перевести затем разговор на темы, близкие ей.

– Случай вышел такой, – сказал он, проводя рукой по щеке. – Однажды ночью, в большую волну, сорвало грот со всеми снастями. Трос-то был проволочный, он и стал хлестать кругом, как змея. Вся вахта старалась его поймать. Ну, я бросился и закрепил его, только при этом меня звезданул по щеке.

– О! – воскликнула она опять, на этот раз с некоторым участием, хотя все эти «гроты» и «тросы» были ей столь же непонятны, как если бы он говорил с ней по-гречески.

– Этот… Свайнберн, – начал он, осуществляя свой план, но при этом делая ошибку в произношении.

– Кто?

– Свайнберн, – повторил он, – поэт.

– Суйнберн, – поправила она его.

– Да, он самый, – проговорил он, снова покраснев. – Давно он умер?

– Я не слышала, чтобы он умер. – Она посмотрела на него с любопытством. – А где вы с ним познакомились?

– Да я его и в глаза не видал, – отвечал он. – Я прочитал кое-что из его стишков вон в той книжке на столе, как раз перед тем, как вы пришли. Вам его стихи, нравятся?

Она заговорила свободно и легко об интересовавшем его предмете. Он почувствовал себя лучше и даже глубже уселся в кресло, продолжая, однако, крепко держаться за ручки, словно опасался, что оно уйдет из-под него, и он шлепнется на пол. Ему удалось найти тему, близкую ей, и теперь он напряженно слушал, удивляясь тому, как много знаний укладывается в ее хорошенькой

головке, и наслаждаясь созерцанием ее хрупкой красоты… Он старался понять то, что слышал, хотя незнакомые слова, так просто слетавшие с ее губ, повергали его в недоумение, да и весь ход мысли был ему совершенно чужд. Однако все это заставляло его ум работать. Вот где умственная жизнь, думал он, вот где красота, яркая и чудесная, о существовании которой он даже никогда не подозревал. Он забыл все окружающее и жадными глазами впился в девушку. Да, он нашел здесь то, для чего стоило жить, чего стоило добиваться, из-за чего стоило бороться и ради чего стоило умереть. Книги говорили правду. Бывают на свете такие женщины. Вот одна из них. Она окрылила его воображение, и огромные яркие полотна возникали перед ним, и на них роились таинственные романтические образы, сцены любви и героических подвигов во имя женщины – бледной женщины, золотого цветка. И сквозь эти зыбкие, трепетные видения, как сквозь чудесный мираж, он смотрел на живую женщину, говорившую ему об искусстве и литературе. Он слушал и смотрел, не сознавая пристальности своего взгляда, не сознавая, что вся мужская сущность его натуры отражена в его блестящих глазах. Но она, мало знавшая о жизни и о мужчинах, вдруг по-женски насторожилась, поймав этот пылающий взгляд. Еще ни один мужчина не смотрел на нее так, и этот взгляд смутил ее. Она запнулась и умолкла. От нее вдруг ускользнула нить рассуждений. Этот человек пугал ее, и в то же время, ей почему-то было приятно, что он так на нее смотрит. Полученное воспитание предостерегало ее против опасности и силы этого таинственного, коварного обаяния; но инстинкт звенел в крови, требуя, чтобы она забыла свое происхождение и положение в обществе и устремилась навстречу этому гостю из другого мира, этому неуклюжему юноше с израненными руками и красной полоской на шее, натертой непривычным воротничком, – юноше, очевидно, хорошо знакомому с окружающей его грубой жизнью. Она была чиста, и вся чистота ее возмущалась; но она была женщина, и к тому же только что начавшая задумываться над удивительным парадоксом женской природы.

– Как я сказала… А что я говорила? – вдруг воскликнула она, оборвав фразу, и сама весело рассмеялась.

– Вы говорили, что этот Суинберн не сделался великим поэтом, потому что… да… вот на этом вы как раз и остановились, мисс…

Он сказал это и почувствовал точно приступ внезапного голода. От ее смеха приятные мурашки забегали у него по спине. Точно серебро, подумал он, точно маленькие серебряные колокольчики; и в это мгновение, и только на одно

мгновение, он перенесся в далекую страну, сидел там под цветущей розовой вишней, курил и слушал звон колокольчиков остроконечной пагоды, призывающий на молитву богомольцев в соломенных сандалиях.

– Да, да… благодарю вас, – отвечала она. – Суинберн потому не сделался великим поэтом, что, по правде говоря, он иногда бывает грубоват. У него есть такие стихотворения, которые просто не стоит читать. У настоящего поэта каждая строчка исполнена прекрасного, истинного и взывает к самому высокому и благородному в человеке. У великих поэтов нельзя выкинуть ни одной строчки. Это было бы огромной потерей для мира.

– А мне это показалось очень хорошо, – сказал он нерешительно, – то, что я вот тут прочел… Мне и в голову не приходило, что он такой негодяй. Должно быть, это сказывается в других его книгах.

– И в той книге, которую вы читали, есть много строк, которые можно было бы выкинуть без всякого ущерба, – заявила она твердым и убежденным тоном.

– Мне они, верно, не попались, – сказал он. – То, что я читал, было уж очень здорово. Точно свет какой-то тебе в душу светит, вроде солнца или прожектора. Так мне показалось, мисс: да ведь я, должно быть, ни черта в стихах не смыслю.

Он вдруг умолк, мучительно сознавая свою косноязычность. Он почувствовал тепло и огромность жизни в том, что только что прочел, но ему не хватало слов, чтобы рассказать об этом. Он самому себе казался матросом на чужом судне, который темной ночью путается в незнакомой оснастке. Хорошо, решил он, значит нужно, во что бы то ни стало, освоиться в этом чужом мире. Еще никогда не бывало, чтобы он не смог овладеть тем, чего хотел, а сейчас он страстно хотел научиться выражать свои чувства и мысли так, чтобы она его понимала. Она уже затмила для него весь горизонт.

– Вот, например, Лонгфелло… – начала она.

– Да, да. Я его читал, – живо перебил он, желая поскорей проявить все свои – хоть и малые – познания в области литературы. Пусть она убедится, что он, не такой уж круглый невежда. – Я читал «Псалом жизни», «Эксцельсиор»… Да вот, кажется, и все.

Она улыбнулась, кивнула головой, и он почувствовал в ее улыбке снисходительность, печальную снисходительность. Он сглупил, вздумав похваляться своими жалкими познаниями. Ведь этот Лонгфелло написал, наверно, несчетное множество книг.

– Простите меня, мисс, что я к вам полез с разговорами, – сказал он, – правду сказать, я мало смыслю в таких вещах. Это не моего ума дело… Но, я добьюсь того, что это будет моего ума дело!

Последние слова прозвучали как угроза. Голос его звенел, глаза сверкали, складки в углах рта обозначились резче. Ей даже показалось, что челюсть у него выдвинулась вперед. Лицо приняло какое-то неприятное, вызывающее выражение. И, в то же время, мощная волна мужественности, исходящая от него, захлестнула ее.

– Я верю, вы добьетесь того, чтобы… чтобы это стало вашего ума дело, – подтвердила она смеясь. – Вы… такой сильный!

Ее взгляд на миг остановился на его мускулистой бычьей шее, бронзовой от солнца, пышущей здоровьем и силой. И хотя он сидел перед ней такой смущенный и робкий, ее снова потянуло к нему. У нее вдруг мелькнула сумасбродная мысль. Ей представилось, что если бы она обняла эту шею, вся сила и мощь передались бы ей. Эта мысль устыдила ее. Казалось, она неожиданно открыла в себе какую-то порочность. Кроме того, до сих пор физическая сила всегда казалась ей чем-то низменным и грубым. Ее идеал мужской красоты был нежен и полон изящества. Однако странная мысль не оставляла ее. Она не понимала, как могло у нее явиться желание обнять эту загорелую шею. А между тем все было просто. Она была хрупка от природы, и ее тело и ум томились по силе, которой им не хватало. Но она не сознавала этого, она знала лишь, что ни один мужчина еще не затрагивал ее так сильно, как этот человек, чья неправильная речь то и дело резала ее слух.

– Да, я вообще здоров, как бык, – сказал он, – ежели понадобится, могу переварить ржавое железо. Но сейчас вот у меня что-то вроде несварения. Многое из того, что вы говорите, мне не переварить. Меня, видите ли, никогда ничему такому не обучали. Я люблю книги и стихи и читаю их, как только выдается время. Но только я никогда про них так не думаю, как вы. От того мне и говорить о них трудновато. Я вроде моряка в незнакомом море, без карты и без компаса. А мне хочется сообразить, что тут к чему. Может, вы мне поможете?

Откуда вы сами столько знаете?

– Я училась, ходила в школу, – отвечала она.

– В школу и я ходил, когда был мальчишкой, – возразил он.

– Да, но я кончила среднюю школу, а потом ходила в университет, на лекции.

– Вы учились в университете? – переспросил он с неприкрытым изумлением. И сразу между ними легло пространство в миллионы миль.

– Я и сейчас там учусь. Я слушаю специальный курс по английской филологии.

Он не знал, что значит «филология», и, отметив свое невежество в этом пункте, спросил:

– А сколько времени нужно было бы мне учиться, чтобы попасть в университет?

Она решила ободрить его в этом стремлении к знанию.

– Зависит от того, сколько вы учились раньше. Вы совсем не были в средней школе? Ну, да, конечно, нет… Но начальную школу вы окончили?

– Мне оставалось до конца всего два года, – отвечал он, – да я ушел… Но учился я всегда с наградами.

И тотчас же, браня себя за это хвастовство, он так сжал ручки кресла, что пальцы у него заныли. В то же мгновение он увидел, что в комнату вошла какая-то дама. Девушка тотчас же встала и пошла ей навстречу. Они поцеловались и, обнявшись, направились к нему. Он решил, что это, вероятно, ее мать. Это была высокая белокурая женщина, стройная и красивая, одетая нарядно, как и подобает хозяйке такого дома. Изящные линии ее платья радовали глаз. Мартину Идену пришли на ум женщины, виденные им на сцене. Потом он вспомнил, что таких же важных дам, так же одетых, он видел в вестибюлях лондонских театров, где, бывало, пялил на них глаза, пока полицейский не выгонял его на улицу. Вслед за этим воображение перенесло его в Нокогаму, к Гранд-Отелю, где ему тоже случалось видеть издали таких дам. И тотчас же

замелькали перед ним сотни картин Иокогамы, города и гавани. Но он принудил себя закрыть калейдоскоп памяти и сосредоточить все внимание на настоящем. Он догадался, что должен встать и представиться, и с трудом поднялся с кресла, чувствуя, как безобразно пузырятся у него брюки на коленях. Руки его беспомощно повисли, а лицо при мысли о предстоящем испытании приняло мрачное выражение.

Глава 2

Процесс перехода в столовую был сплошным кошмаром. А продвигаться среди всех этих предметов, на которые можно было ежесекундно натолкнуться, временами казалось ему немыслимым. Но, в конце концов, он проделал опасный путь, и теперь сидел рядом с Руфью. Обилие ножей и вилок испугало его. Они грозили неведомыми опасностями, и он, как зачарованный, смотрел на них, пока в глазах у него не зарябило от блеска, и на этом сверкающем фоне всплыла знакомая картина матросского кубрика, где он и его товарищи ели солонину, действуя складными ножами, а то и просто пальцами, или хлебали густой гороховый суп из общей миски помятыми железными ложками. В ноздрях у него стоял запах скверного мяса, в ушах раздавалось громкое чавканье матросов, которому аккомпанировал скрип снастей. Он решил, что они ели, как свиньи. Ладно, тут уж он последит за собой. Постарается жевать без шума, все время будет помнить об этом.

Он окинул взглядом стол. Напротив него сидели Артур и второй брат, Норман. «Ее братья», сказал он себе, и почувствовал к ним искреннее расположение. Как они любят друг друга, члены этой семьи! Ему вспомнилось, как Руфь встретила свою мать, как они поцеловались, как, обнявшись, направились к нему. В том мире, из которого он вышел, между родителями и детьми не в обычае были подобные нежности. Для него это послужило своего рода откровением, доказательством той возвышенности чувств, которой достигли высшие классы. Из всего, что Мартину пришлось увидеть в этом новом для него мире, это было самое прекрасное. Он был глубоко тронут, и сердце его исполнилось нежностью и сочувствием. Он искал любви всю свою жизнь. Его природа жаждала любви. Это было органической потребностью его существа. Но жил он без любви, и душа его все больше и больше ожесточалась в одиночестве. Впрочем, сам он никогда не сознавал, что нуждается в любви. Не сознавал он этого и теперь. Он только видел перед собой проявления любви, и они казались ему благородными,

возвышенными, прекрасными.

Он был рад отсутствию мистера Морза. Достаточно с него было знакомства с Руфью, с ее матерью и с ее братом Норманом. Артура он уже немного знал. Знакомиться еще и с отцом – это было бы уж слишком. Ему казалось, что еще никогда в жизни он так не трудился. Самая тяжелая работа была детской игрой по сравнению с этим. На лбу у него выступили мелкие капли пота, а рубашка взмокла от усилий, которых требовало решение стольких непривычных задач сразу. Надо было есть так, как он никогда прежде не ел, пользоваться предметами, с назначением которых он не был знаком, украдкой поглядывать на других, чтобы понять, как все это делается, и, в то же время, вбирать в себя непрерывный поток новых впечатлений, едва успевая классифицировать их в своем сознании; испытывать неодолимое влечение к девушке, наполнявшее его смутной и болезненной тревогой; томиться страстным желанием проникнуть в те жизненные сферы, в которых она жила, и напряженно и непрестанно размышлять о том, как достичь этого. Искоса посматривая на Нормана, сидевшего напротив, или еще на кого-нибудь из обедавших, чтобы узнать, какой нож или вилку надо брать в том или ином случае, он старался, в то же время, ясно запечатлеть в своем сознании черты каждого и угадать, в каких он отношениях с Руфью. Кроме того, он должен был говорить, слушать то, что говорили ему, или то, что говорилось вокруг, отвечать, когда это было нужно, заботясь о том, чтобы язык, привыкший к распущенным речам, не сболтнул чего-нибудь неподходящего. К довершению всего существовала еще постоянная угроза в виде слуги, который бесшумно появлялся за его плечами и, подобно некоему сфинксу, задавал загадки, требуя немедленного ответа. И все время ему не давала покоя мысль о чашках для полоскания пальцев. Против воли он то и дело вспоминал об этих чашках, думал о том, какие они из себя и когда их подадут. До сих пор он знал о них только понаслышке, и вот теперь, может быть, через минуту-две, он их увидит, – ведь он сидит за одним столом с высшими существами, которые привыкли ополаскивать пальцы после еды, и должен будет сам – да, сам – это проделать. Но, больше всего его занимала неотступная мысль: как ему держаться с этими людьми? Как себя вести? Он мучительно и напряженно старался разрешить эту проблему. Иногда ему приходило в голову, что хорошо бы притвориться не тем, что он есть на самом деле, но тотчас являлась другая опасливая мысль: что ничего у него не выйдет и что он не привык к притворству и легко может оказаться в дураках.

Занятый всеми этими размышлениями, Мартин первую половину обеда просидел очень тихо. Он не знал, что тем самым опроверг слова Артура, предупредившего родных, что приведет обедать дикаря, но чтобы они не пугались, так как дикарь

этот очень интересный. Мартину никогда не пришло бы в голову, что ее брат может быть способен на такое предательство, в особенности после того, как он его выручил из беды. И он сидел за столом, угнетенный сознанием собственного ничтожества и очарованный всем, что совершалось вокруг него.

Впервые он понял, что еда не просто удовлетворение физической потребности. Раньше он никогда не замечал того, что ел. Это была пища, и только. Здесь же, за этим столом, он находил удовлетворение своему чувству прекрасного, потому что еда здесь являлась эстетической функцией. И не только эстетической, но и интеллектуальной. Ум его усиленно работал. Вокруг него произносили слова, непонятные ему по значению, и другие слова, которые он встречал только в книгах и которые никто из людей его мира не мог даже выговорить. Когда он слышал, как легко произносились такие слова в этой удивительной семье, ее семье, он дрожал от восторга. Все увлекательное, высокое и прекрасное, о чем он читал в книгах, оказалось правдой. Он находился в блаженном состоянии человека, мечты которого вдруг перестали быть мечтами и воплотились в жизнь.

Никогда еще не поднимался он на такие жизненные высоты, и, наблюдая и слушая, он старался поменьше обращать на себя общее внимание, отвечая односложно: «да, мисс» и «нет, мисс», если она обращалась к нему; «да, мэм» и «нет, мэм», если к нему обращалась ее мать. Он едва удержался, чтобы не сказать ее брату: «да, сэр», как полагалось по правилам морской дисциплины. Он чувствовал, что тем самым поставил бы себя в приниженное положение, а этого не должно быть, если он хочет добиться ее. Да и гордость его восставала против этого. Ей-богу, думал он, я не хуже их, и если они знают многое, чего я не знаю, то и я могу всему этому научиться. Но в следующий миг, когда она или ее мать говорили ему: «мистер Иден», – он забывал свою гордую строптивость и сиял от восторга. Он был сейчас цивилизованным человеком и обедал в обществе людей, о которых раньше только читал в книжках. Он словно сам попал в книгу и странствовал по страницам переплетенного тома.

Но сидя за столом и уподобляясь скорее кроткому Ягненку, чем дикарю, описанному Артуром, Мартин не переставал ломать голову над тем, как ему быть. Он вовсе не был кротким ягненком, и его властная натура не мирилась с второстепенной ролью. Он говорил только тогда, когда это было необходимо, и речь его очень напоминала его переход из гостиной в столовую, когда он спотыкался и наталкивался на мебель. Мартин рылся в своем многоязычном лексиконе, боясь, что нужные слова он не сумеет произнести как следует, а иные, знакомые ему, окажутся грубыми или непонятными. Все время его

угнетала мысль, что эта связанность речи вредит ему, мешает выразить то, что он, на самом деле, чувствует и думает. Кроме того, невольная узда стесняла его независимый дух точно так же, как крахмальный воротничок давил его шею. Мартин опасался, что долго не выдержит. Чувства и мысли, обуревавшие его, настоятельно стремились вылиться наружу и принять определенную форму; и в конце концов он забыл, где находится, и старое, знакомое слово, одно из тех, которыми он привык пользоваться, сорвалось с его языка.

Мартин отклонил блюдо, предложенное лакеем, который все время торчал у него за спиной, и сказал кратко и выразительно:

– Пау.

Все за столом тотчас же застыли в ожидании, слуга с трудом сдержал злорадную ухмылку, а сам Мартин оцепенел, объятый ужасом. Но он быстро овладел собою.

– Это канакское слово, – сказал он, – означает: «хватит», «довольно». Так уж у меня вырвалось, нечаянно. – Он поймал любопытный взгляд Руфи, устремленный на его руки, и, отвечая на ее немой вопрос, продолжал:

– Я только что приплыл на одном из пароходов тихоокеанской почтовой линии. Он опаздывал, и нам пришлось поработать в порту на погрузке, и не как-нибудь, а на совесть. Там я и поободрал себе шкуру.

– О, я вовсе не на то смотрела, – поспешно сказала она. – Ваши руки кажутся маленькими по сравнению с вашей фигурой.

Он покраснел, словно ему указали еще на один его недостаток.

– Да, – сказал он огорченно, – кулаки у меня слабоваты, это верно. Но бицепсы здоровые, как у мула, и удар что надо. Когда я кому-нибудь заеду в зубы, то обычно расшибаю себе руки в кровь.

Мартин был недоволен тем, что сказал. Он почувствовал отвращение к себе: перестал следить за своей речью и сразу наболтал лишнего о вещах не очень красивых.

– Как смело было с вашей стороны прийти на помощь Артуру, тем более, что он вам совсем чужой, – сказала Руфь деликатно, заметив его смущение, но, не поняв причины.

Он же вполне понял и оцепил ее тактичность и, увлеченный порывом благодарности, опять дал волю своему языку.

– Ерунда, – сказал он, – каждый сделал бы то же на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их и не трогал. Они набросились на него, а я на них, – ну и отдул их порядком. Правда, кожа у меня на руках пострадала, ну да зато, кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу…

Он вдруг умолк с раскрытым ртом, потрясенный собственным ничтожеством, чувствуя, что недостоин даже дышать одним воздухом с нею. И в то время как Артур, подхватив разговор, в двадцатый раз стал рассказывать о приключении на пароме, – как на него напали какие-то пьяные хулиганы и как Мартин Иден бросился на них и спас его, – герой этого приключения, насупив брови, молча думал о том, что выставил себя болваном, и еще больше прежнего терзался вопросом, как же нужно вести себя в обществе этих людей. Он явно делал все время не то, что надо. Он был не их породы и потому не умел говорить их языком. Все это было несомненно. Подделываться под них? Но игра, наверное бы, не удалась, да и вообще притворство было не в его натуре. В ней не было места для обмана и фальши. Будь что будет, но он должен оставаться самим собою. Сейчас он не может говорить их языком, но со временем сможет: в этом он был убежден непоколебимо. А пока – не молчать же ему! – он будет говорить своим языком; разумеется, смягчая выражения, чтобы его речь не шокировала их и была им понятна. Больше того, он не хочет своим молчанием дать повод думать, что ему ясно то, что на самом деле ему совершенно неясно. Поэтому, когда братья, говоря об университетских делах, несколько раз употребили слово «триг», Мартин Иден, следуя своему решению, спросил их:

– Что такое «триг»?

– Тригонометрия, – отвечал Норман. – Часть высшей «матики».

– А «матика» что такое? – был следующий вопрос, вызвавший у Нормана легкую улыбку.

– Математика, арифметика, – отвечал он.

Мартин Иден кивнул головой. Он заглянул в бесконечные, на первый взгляд, дали мудрости. Но то, что он увидел, приняло для него осязаемые формы. Необычайная сила его воображения воплощала абстрактные понятия в конкретные образы. В алхимическом приборе его мозга тригонометрия и математика и вся область знания, символом которой служили эти слова, превратилась в яркий ландшафт. Он видел, как на картине, зеленую листву, лесные прогалины, то ярко освещенные, то пронизанные золотистыми лучами. Издалека все казалось окутанным легкой пурпурной дымкой, но за этой дымкой, он знал твердо, лежала страна неведомого, страна романтических чудес. Все это пьянило его, как вино. Тут была почва для подвига, простор для мыслей и дел, мир, который можно было завоевать, – и тотчас же из глубины сознания всплыла мысль: завоевать ради нее, бледной, как лилия, девушки, сидящей перед ним.

Сверкающее видение было разрушено Артуром, который прилагал все старания, чтобы в Мартине проявился, наконец, дикарь.

Мартин Иден помнил свое решение. Впервые за весь вечер он стал самим собой и сначала с усилием, а потом свободно, увлекаясь радостью творчества, стал рассказывать, стараясь представить жизнь такой, какою он ее знал, Он был матросом на контрабандистской шхуне «Хальцион», когда ее захватил таможенный катер. Мартин умел видеть и, вдобавок, умел рассказать о том, что видел. Он описывал бурное море, корабли и людей команды и силой своего воображения заставлял слушателей смотреть его глазами. С чутьем настоящего художника он выбирал из множества подробностей самое яркое и разительное, создавал картины, полные света, красок и движения, увлекая слушателей своим самобытным красноречием, вдохновением и силой. Иногда их шокировала реальность описаний или обороты речи, но грубое в его рассказе неизменно чередовалось с прекрасным, а трагизм смягчался юмором, причудливыми и веселыми образцами остроумия моряков.

И пока Мартин Иден говорил, девушка смотрела на него с восхищением. Его огонь согревал ее. Она удивлялась, как могла она, такой холодной, прожить все эти годы. Ей хотелось прильнуть к этому могучему, пылкому человеку, в котором клокотал вулкан силы и здоровья. Желание это было так сильно, что она с трудом сдерживала себя. Но, в то же время что-то и отталкивало ее от Мартина. Отталкивали эти израненные руки, на которых остались неизгладимые следы труда и житейской грязи, эти вздувшиеся мускулы, эта шея, натертая

воротничком. Его грубость пугала ее. Каждое грубое слово оскорбляло ее слух, каждая грубая подробность его жизни оскорбляла ее душу. И все-таки ее влекла к нему какая-то, как ей казалось, сатанинская сила. Все, что так твердо устоялось в ее мозгу, вдруг стало колебаться. Его жизнь, полная романтики и приключений, опрокидывала все привычные условные представления. Слушая его смех, его веселые рассказы об опасностях, она переставала считать жизнь чем-то серьезным и трудным: жизнь начинала представляться ей игрушкой, которой приятно поиграть, повертеть во все стороны, но которую можно и отдать без особого сожаления. «Вот и ты играй, – говорил ей внутренний голос, – прижмись к нему, если тебе так хочется, обними его за шею». Ей хотелось осудить себя за эти легкомысленные побуждения, но напрасно противопоставляла она ему свою чистоту, свою культуру – все то, что отличало ее от него. Посмотрев кругом, Руфь увидела, что и остальные слушают его, как завороженные, но в глазах своей матери она прочла тот же ужас, – восторженный, но все-таки ужас, – и это придало ей силы. Да, этот человек, пришедший из мрака, – порождение зла. Ее мать также видит это, – значит, так и есть. Руфь была готова положиться на суждение матери, как привыкла полагаться всегда. Пламя Мартина перестало жечь ее, и страх, который он ей внушал, потерял свою остроту.

После обеда она играла ему на рояле, с тайным вызовом, с неосознанным желанием еще увеличить пропасть, их разделявшую. Ее музыка ошеломила Мартина, подействовала на него, как жестокий удар по голове, но, ошеломив и сокрушив, в то же время всколыхнула его душу. Он смотрел на Руфь с благоговением. Как и она, он почувствовал, что пропасть между ними еще увеличилась, но тем сильнее хотелось ему перешагнуть через нее. Мартин был слишком чувствителен и экспансивен, чтобы целый вечер молча созерцать эту пропасть, в особенности когда еще при этом звучала музыка. Музыка на него всегда сильно действовала. Она, точно крепкое вино, побуждала его к смелым мыслям и поступкам, опьяняла воображение и уносила в заоблачную высь. У него словно вырастали крылья. Неприглядная действительность переставала существовать, уступая место прекрасному и необычайному. Он, конечно, не понимал того, что играла Руфь. Это было совсем не похоже на звуки разбитого пианино, которые он слышал на матросских танцульках, или на оглушительную медь духового оркестра. Но в книгах ему случалось читать о такой музыке, и он принимал на веру игру Руфи, не находя в ней простого и четкого ритма, к которому привыкло его ухо. Иногда ему казалось, что он поймал ритмический рисунок, и он уже готов был, подчинить ему строй образов, вставших перед ним, но тотчас же снова терялся в хаосе звуков, и его воображение беспомощно низвергалось на землю, как лишенная опоры тяжесть.

Один раз Мартину даже пришло в голову, не смеется ли она над ним. В ее игре ему чудилось нечто враждебное, и он старался угадать, что хотели сказать ее руки, ударявшие по клавишам.

Но он поспешно отогнал эту недостойную мысль и постарался свободно отдаться музыке. Прежнее очарование постепенно опять овладело им. Его ноги словно отделились от земли, плоть стала духом, лучезарное сияние разлилось перед глазами. Все, что было вокруг, исчезло, он парил над каким-то неведомым миром, мечту о котором лелеял давно. Знакомое и незнакомое смешалось в ярком и неотступном видении. Мартин видел неведомые порты знойных стран, блуждал по людным площадям, в селениях диких племен, которых никто никогда не видел. Он словно чувствовал знакомый ему аромат островов, который привык вдыхать в жаркие ночи на море, снова долгие тропические дни плыл по Великому океану, среди увенчанных пальмами коралловых островов, исчезавших и вновь появлявшихся на бирюзовой поверхности. Картины возникали и исчезали быстро, как мысли. То он скакал на коне по выжженной солнцем пустыне, то, в следующее мгновение, сквозь радужную дымку раскаленного воздуха заглядывал в белую гробницу Долины Смерти или ударял веслами по волнам Ледовитого океана, где сверкали на солнце громадные ледяные острова. То лежал на коралловом острове под кокосовой пальмой, прислушиваясь к мерному шуму прибоя. Остов старого, потерпевшего крушение судна пылал синеватым пламенем, и при этом таинственном свете танцоры плясали «hula» под страстные завывания певцов, под звон гавайской гитары и грохот там-тама. Стояла напоенная страстью тропическая ночь. Вдали, на фоне звездного неба, вырисовывался силуэт вулкана. Вверху над головой медленно плыл бледный месяц, и низко над горизонтом сияли звезды Южного Креста.

Мартин был подобен эоловой арфе. То, что он пережил и изведал на своем веку было струнами, а музыка – ветром, который колебал эти струны, и они вибрировали, порождая воспоминания и мечты. Он не просто чувствовал. Каждое ощущение принимало у него форму и окраску и претворялось в образы каким-то чудесным и таинственным путем. Прошедшее, настоящее и будущее сливалось в одно; он уносился в огромный, жаркий, прекрасный мир, совершал великие подвиги, добиваясь ее. И вот он с ней, он владеет ею, заключает ее в свои объятия, увлекает ее в царство своих грез.

Руфь, взглянув на Мартина через плечо, прочла на его лице то, что он чувствовал. Это было совсем другое лицо, с большими сверкающими глазами, которые будто проникали за пелену звуков, и там ловили биение живой жизни и

исполинские призраки фантазии. Она была потрясена. Грубый, неуклюжий парень исчез. Плохо сшитый костюм, израненные руки и обожженное солнцем лицо, по-прежнему, были перед ней, но теперь все это казалось ей лишь тюремной решеткой, сквозь которую она видела великую душу, беспомощную и немую, ибо не было слов, которые могли выразить взволновавшие ее чувства. Но все это Руфь видела лишь одно мгновение; неуклюжий парень появился снова, и она рассмеялась над своей фантазией. Однако впечатление от этого мгновения сохранилось, и когда Мартин неловко подошел к ней, чтобы проститься, она дала ему томик Суинберна и еще томик Броунинга, – как раз сейчас она изучала Броунинга на курсе английской литературы. Мартин вдруг показался ей таким мальчиком, когда пробормотал слова благодарности, что она невольно почувствовала к нему материнскую нежность и жалость. Она забыла и грубого парня, и пленную душу, и мужчину, который так по-мужски смотрел на нее, радуя и в то же время пугая своим взглядом. Она видела перед собой лишь мальчика, и этот мальчик, пожимая ей руку своей рукой, такой жесткой и огрубевшей, что она царапала ей кожу, говорил ей запинаясь:

– Самый замечательный день в моей жизни. Видите ли, я не очень привык ко всему этому, – он растерянно оглянулся, – к таким людям, и таким домам. Это все совсем ново для меня… и это мне нравится.

– Надеюсь, вы к нам еще придете, – сказала она, когда он прощался с ее братьями.

Он напялил кепку, неуклюже споткнулся о порог и вышел.

– Ну, как он тебе понравился? – спросил Артур.

– Очень занятный. И для нас – словно струя озона, – ответила она. – Сколько ему лет?

– Двадцать, почти двадцать один. Я спрашивал его сегодня. Я никак не предполагал, что он так молод.

«Значит, я на целых три года старше его», – подумала Руфь, целуя братьев на прощанье и желая им спокойной ночи.

Глава 3

Сойдя с лестницы, Мартин Иден запустил руку в карман и, вытащив лоскуток коричневой рисовой бумаги и щепотку мексиканского табаку, скрутил папироску. Он с наслаждением затянулся долгой затяжкой и медленно выпустил дым.

– Чёрт побери! – воскликнул он с благоговейным удивлением. – Чёрт побери! – повторил он и, помолчав, пробормотал еще раз: – Чёрт побери! Потом он отстегнул воротничок и сунул его в карман. Моросил холодный дождь, но Мартин шел с непокрытой головой и в расстегнутом пиджаке, ничего не замечая кругом. Лишь смутно до его сознания доходило, что идет дождь. Он был в каком-то экстазе, видел сны наяву, мысленно переживая снова все, что только с ним произошло.

Наконец-то он встретил ту самую женщину, о которой он, правда, думал редко, – задумываться о женщинах ему было несвойственно, – но которую всегда смутно надеялся встретить на своем пути. Он сидел с нею рядом за столом, он пожимал ее руку, он смотрел ей в глаза и видел в них красоту ее души – равную красоте этих глаз, в которых она светилась, этого тела, в котором она обитала. Но о теле ее Мартин не думал как о теле, – и это было ново для него, потому что о других женщинах он иначе не думал никогда. Ее тело было чем-то особым; казалось даже, что оно не должно быть подвержено обыкновенным телесным недугам и слабостям. Оно было не только обиталищем ее души, – оно было эманацией духа, чистейшим и прекраснейшим воплощением ее божественной сущности. Это впечатление божественности поразило Мартина и, рассеяв мечты, обратило его к более трезвым мыслям. До сих пор, ни одно слово, ни одно указание, ни один намек на божественное не задевали его сознания. Мартин никогда не верил в божественное. Он всегда был человеком без религии и весело смеялся над священниками и над произведениями, толкующими о бессмертии души. Никакой жизни «там», говорил он себе, нет и быть не может; вся жизнь здесь, а дальше – вечный мрак. Но то, что он увидел в ее глазах, была именно душа – бессмертная душа, которая не может умереть. Ни один мужчина, ни одна женщина, которых он знал раньше, не вызывали в нем мыслей о бессмертии. А она вызвала! Она безмолвно шепнула ему об этом сразу, как только взглянула на него. Ее лицо и теперь сияло перед ним, бледное и серьезное, ласковое и выразительное, улыбающееся так нежно и сострадательно, как могут улыбаться только ангелы, и озаренное светом такой чистоты, о какой он и не подозревал

никогда. Чистота ее ошеломила его и потрясла. Он знал, что существуют добро и зло, но мысль о чистоте как об одном из атрибутов живой жизни никогда не приходила ему в голову. А теперь – в ней – он видел эту чистоту, высшую степень доброты и непорочности, в сочетании которых и есть вечная жизнь.

И его вдруг охватило честолюбивое желание добиться бессмертия. Он отлично знал, что недостоин и воду таскать для этой девушки; уже то, что он сидел с ней весь вечер и беседовал, было неожиданной и фантастической удачей. Конечно, это была только случайность. Он ничем не заслужил этого. Он не был достоин такого счастья. Религиозное настроение овладело им. Он стал кротким и смиренным, готовым к самоотречению и самоуничижению. В таком состоянии идет грешник к исповеди. Он был обличен во грехе. Но как всякий грешник, каясь и оплакивая свои прегрешения прозревает будущее блаженство, так и он видел впереди то счастье, которое даст ему обладание ею. Но мысль об этом обладании была окутана каким-то туманом и совсем не похожа на те мысли, которые возникали обычно. Честолюбивые мечты окрылили его, ему представлялось, что он парит вместе с ней на головокружительной высоте, наслаждается всем прекрасным и возвышенным, обменивается с нею мыслями. Это было какое-то духовное обладание, освобожденное от всего грубого, вольное содружество душ, мысль о котором он никак не мог довести до конца. Да он и не старался. Он вообще ни о чем не думал. Ощущения в нем взяли верх над рассудком, и он отдался эмоциям духа, которых никогда прежде не испытывал, плыл по течению в океане чувств, уносясь за пределы действительной жизни. Он шел, шатаясь, как пьяный, и бормоча вполголоса:

– Чёрт возьми! О, чёрт возьми!

Полицейский на углу посмотрел на него подозрительно и по походке признал в нем матроса.

– Где нагрузился? – спросил полицейский.

Мартин Иден возвратился на землю. Он был от природы наделен внутренней гибкостью, уменьем быстро приспособляться к обстоятельствам. Как только полицейский окликнул его, он тотчас же опомнился.

– Здорово! – воскликнул он со смехом. – А ведь я и не знал, что разговариваю вслух.

– Еще немножко, и ты начнешь петь, – определил его состояние полицейский.

– А вот не начну. Дайте-ка мне спичку, я сейчас сяду в трамвай и поеду домой.

Он закурил папироску, пожелал полицейскому доброй ночи и зашагал дальше.

– Как вам это нравится, – пробормотал он себе под нос, – этот олух принял меня за пьяного! – Он усмехнулся про себя и подумал: «А ведь я вправду пьян; вот не думал, что могу опьянеть от женского лица».

На Телеграф-авеню он вскочил в трамвай, шедший в Беркли. Вагон был набит молодыми людьми, распевавшими студенческие песни, Он с любопытством наблюдал их. То были слушатели университета. Они посещали те же лекции, которые посещала она, принадлежали к тому же обществу, могли водить с ней знакомство, могли видеть ее каждый день, если бы захотели. Он удивлялся, что они этого не хотят, что они прошатались где-то весь вечер, вместо того, чтобы провести его с ней, беседовать с ней, любоваться ей, восхищенно и почтительно. Он заметил одного юношу с узенькими глазками и отвислой губой. Дрянной, порочный мальчишка, решил он. На корабле это был бы трус, плакса и доносчик. Мысль, что он, Мартин, куда лучше этого юнца, чрезвычайно обрадовала его. Она как будто приблизила его к ней. Он стал сравнивать себя с этими студентами. Он подумал о своем крепком, мускулистом теле и решил, что в физическом отношении заткнет за пояс любого из них. Но их головы были наполнены знаниями, которые позволяли им говорить одним языком с нею, а вот эта-то мысль и угнетала его. Но для чего-то и мне дан мозг в конце концов, тотчас подумал он. Чего достигли они, могу и я достичь. Они изучали жизнь по книгам, в то время как он был занят тем, что жил. Его голова тоже была наполнена знаниями, только это были знания иного рода. Кто из них сумел бы натянуть парус, править рулем, отстоять вахту? Его жизнь пронеслась перед ним, полная опасностей, отваги, лишений и трудов. Он вспомнил все, что ему пришлось пережить во время учения. Что ж, а все-таки он не в проигрыше. Когда-нибудь и им придется столкнуться с живой жизнью и испытать все то, что он уже испытал. И прекрасно. Пока они будут узнавать то, что ему уже давно известно, он займется изучением по книгам другой стороны жизни.

Трамвай шел по мало застроенной местности между Оклендом и Беркли, и Мартин Иден ждал, когда он поравняется с хорошо знакомым ему двухэтажным домом, на котором красовалась вывеска: «Розничная торговля Хиггинботама». Возле этого дома он соскочил с трамвая и с минуту смотрел на вывеску. Она

говорила ему больше, чем можно было на ней прочесть. Мелким самолюбием, эгоизмом и жалким ничтожеством веяло, казалось, от самих букв. Бернард Хиггинбогам был женат на сестре Мартина, и он достаточно хорошо успел изучить его. Мартин отпер дверь своим ключом и поднялся по лестнице во второй этаж. Тут жил его зять. Лавка находилась внизу, но запах лежалых овощей проникал и сюда. Пробираясь по темной прихожей, он споткнулся об игрушечную тележку, забытую одним из его многочисленных племянников, и с грохотом налетел на дверь. «Скряга, – подумал он, – жалеет уплатить два лишних цента за газ, чтобы жильцы не разбивали себе нос».

Нащупав ручку, он открыл дверь и вошел в освещенную комнату, где сидели его сестра и Бернард Хиггинботам. Она чинила его штаны, а он читал газету, растянувшись на двух стульях и свесив костлявые ноги в стоптанных ковровых туфлях. Когда Мартин вошел в комнату, он взглянул на него поверх газеты темными, пронзительными, хитрыми глазами. В Мартине Идене Бернард всегда вызывал инстинктивное отвращение. Что могла сестра найти в этом человеке? Он ему казался каким-то гадом и вызывал непреодолимое желание раздавить его каблуком. «Когда-нибудь я набью ему морду», – утешал он себя, и только эта мысль помогала ему выносить присутствие этого человека. Злые и хищные глаза смотрели на Мартина неодобрительно.

– Ну, – спросил Мартин, – в чем дело?

– Эту дверь только на прошлой неделе окрасили, – произнес мистер Хиггинботам не то жалобно, не то злобно, – а ты знаешь, какую плату теперь дерут союзы. Можно было бы поосторожнее!

Мартин хотел было ответить, но раздумал, решив, что это все равно безнадежно. Чтобы отвлечься, он посмотрел на хромолитографию, висевшую на стене. Он удивился. Всегда эта картина нравилась ему, но теперь он словно увидел ее впервые. Это была дешевка, третий сорт, как и все в этой лачуге. Ему вдруг представился тот дом, который он только что покинул, и он увидел сначала картины на стенах, а потом ее, с ласковой улыбкой пожимающую ему руку на прощанье. Он забыл, где находится, забыл о существовании Бернарда Хиггинботама и опомнился только, когда названный джентльмен спросил его:

– Привидение ты увидел, что ли?

Мартин пришел в себя и, взглянув в эти злые, хитрые глаза, вдруг вспомнил, какие они бывают, когда обладатель их отпускает товар в лавке, – масленые, слащавые, с заискивающим, рабски-угодливым выражением.

– Да, – отвечал Мартин, – я увидел привидение. Спокойной ночи! Спокойной ночи, Гертруда!

Он направился к двери и по дороге опять споткнулся и чуть не упал, зацепившись за ковер.

– Не хлопай дверью, – предостерегающе произнес мистер Хиггинботам.

Мартину кровь бросилась в голову, но он сдержался и осторожно затворил за собою дверь.

Мистер Хиггинботам торжествующе поглядел на жену.

– Пьян, – объявил он хриплым шепотом, – я говорил, что он налижется!

Жена покорно кивнула головой.

– У него, правда, глаза блестят, – признала она, – и воротничок куда-то девался, а пошел он из дому в воротничке. Но, может, он не так уж много выпил.

– Он еле на ногах держится, – возразил ее супруг, – я наблюдал за ним. Шагу не мог сделать, чтобы не споткнуться. Ты слышала, как он чуть не свалился в передней?

– Он, верно, наскочил на Алисину тележку, – отвечала она, – не заметил ее в темноте.

Мистер Хиггинботам повысил голос, давая волю нарастающему раздражению. Весь день он скромно стушевывался перед покупателями, в ожидании вечера, когда в кругу семьи сможет, наконец, позволить себе стать самим собой.

– Я тебе говорю, что твой прекрасный братец пьян!

Он говорил резким, холодным, решительным тоном, чеканя слова, точно штампуя их на станке. Жена грустно умолкла. Это была крупная, рыхлая женщина, всегда небрежно одетая, всегда изнемогающая под бременем своего тела, своей работы и своего супруга.

– Это у него наследственное, от папаши, – продолжал тот прокурорским тоном, – и он пойдет по той же дорожке. Так и знай!

Она опять кивнула и со вздохом принялась шить. Оба были убеждены, что Мартин пришел домой пьяный. Их души были глухи ко всему прекрасному, иначе они бы поняли, что эти сверкающие глаза и сияющее лицо были отражением первой юношеской любви.

– Хорош пример для детей! – закричал вдруг мистер Хиггинботам, раздраженный молчанием жены. Иногда ему хотелось, чтобы она почаще возражала ему. – Если это случится еще раз, пусть убирается вон. Поняла? Я не желаю, чтобы невинные дети развращались, глядя на его пьяную харю! – Мистер Хиггинботам любил употреблять слова, только что вычитанные в газете. – Да, развращались. Иначе не скажешь.

Но жена по-прежнему только вздыхала, качала головой и продолжала шить. Мистер Хиггинботам снова взял газету.

– А он заплатил за прошлую неделю? – спросил он вдруг среди чтения.

Она утвердительно наклонила голову.

– У него еще есть деньги.

– А скоро он опять отправится в плавание?

– Должно быть, как деньги выйдут, – отвечала она. – Он уж вчера ездил в Сан-Франциско – посмотреть, нет ли подходящего судна. Но пока у него деньги есть, он, конечно, не наймется на первое попавшееся. Он очень разборчив.

– Еще чего! Палубной швабре не пристало задаваться! – Мистер Хиггинботам усмехнулся. – Разборчив! Подумаешь!

– Он тут рассказывал про одну шхуну, которая отправляется в далекие края за каким-то кладом. Вот он на ней хочет идти, если только хватит денег ее дождаться.

– Если бы он хотел устроиться здесь, я бы его взял к себе возчиком, – сказал муж, без тени доброжелательства впрочем, – Том уходит.

Жена посмотрела на него тревожно и вопросительно.

– Ушел уже. Он переходит к Каррузерсам. Они платят больше. Я столько не могу платить.

– Вот видишь! – воскликнула она. – Я тебе говорила. Ты ему платил слишком мало по его работе.

– Вот что, старуха, – со злобой ответил мистер Хиггинботам. – Я тебе тысячу раз говорил, чтобы ты не совала нос не в свое дело. Больше повторять не буду.

– Как хочешь, – проворчала она, – А только Том был хороший малый.

Супруг метнул на нее яростный взгляд. С ее стороны это было большой дерзостью.

– Если бы твой братец не был лодырем, он мог бы ездить с подводой.

– Он платит исправно за стол и квартиру, – возразила жена, – Он мой брат, и покуда он тебе ничего не должен, нечего придираться к нему. Я ведь еще тоже человек, даром что прожила с тобою целых семь лет.

– А ты сказала ему, что он должен платить за газ, если будет читать по ночам? – спросил он.

Миссис Хиггинботам ничего не ответила. Ее негодование уже остыло, ее дух снова забился в недра утомленного тела. Супруг торжествовал. Он одержал верх. И его бусинки-глазки сверкнули злобной радостью. Ему доставляло большое удовольствие смирять ее; и, по правде говоря, теперь это было совсем нетрудно, не то что в первые годы их супружеской жизни, когда ежегодные

роды и его постоянные придирки еще не подорвали ее сил.

– Ну, ладно, завтра скажешь, – сказал он. – И еще чтоб не забыть: пошли завтра за Мэриен, пусть присмотрит за детьми. А то теперь, раз Том уходит, мне самому придется ездить за товаром, а ты будешь торговать в лавке вместо меня.

– Завтра у меня стирка, – возразила она нерешительно.

– Встань пораньше, только и всего… Я раньше десяти не выберусь.

Он сердито перевернул газетный лист и снова погрузился в чтение.

Глава 4

У Мартина Идена еще звенело в ушах после столкновения с зятем, когда он через темную переднюю пробирался в свою комнату – тесную каморку, где помещалась только кровать, умывальник и один стул. Мистер Хиггинботам был слишком скуп, чтобы держать служанку, раз жена его могла работать. К тому же лишняя комната позволяла иметь двух жильцов вместо одного. Мартин положил Суинберна и Броунинга на стул, снял пиджак и сел на кровать. Пружины застонали, словно задыхаясь под тяжестью его тела, но он не обратил на это внимания. Нагнувшись, чтобы снять башмаки, он вдруг уставился на противоположную стену, где на белой штукатурке остались темные полосы от просочившегося сквозь крышу дождя, и замер. На этом грязном фоне стали возникать и таять разные видения. Он забыл про башмаки и долго смотрел на стену, потом у него зашевелились губы, и он прошептал: «Руфь!»

«Руфь!» Мартин никогда и не думал, что простой звук может быть так прекрасен. Этот звук ласкал его слух, и он повторял с упоением: «Руфь, Руфь». Это был талисман, магическое заклинание; и каждый раз, когда он произносил его, ее лицо являлось перед ним, озаряя всю степу золотым сиянием. Это сияние не задерживалось на стене, оно уходило в бесконечность, и где-то в золотом просторе его душа искала ее душу. Все лучшее, что было заложено в нем, хлынуло наружу могучим потоком. Самая мысль о ней облагораживала и возвышала его, делала лучше и вызывала желание стать еще лучше. Это было

что-то новое. Мартин никогда еще не встречал женщин, с которыми он становился бы лучше, чем был. Напротив, все они обычно превращали его в грубое животное. Он не знал, что многие из них все же отдавали ему свое самое лучшее, как ни убого это лучшее было. Он никогда не думал о себе и не подозревал, что в нем есть нечто, вызывающее в сердцах любовь, и что именно потому многие женщины так упорно добивались его внимания. Он их никогда не искал, они сами его искали; и ему не пришло бы в голову, что некоторые из них становились лучше благодаря ему. До сих пор он относился к женщинам с беспечной небрежностью, и теперь ему казалось, что это они всегда хватали его и крепко держали своими грязными руками. Он был несправедлив к ним, несправедлив и к самому себе. Но этого он не мог понять, потому что не привык еще задумываться о таких вещах, и только сгорал от стыда, вспоминая о недавнем разврате. Мартин внезапно встал и заглянул в потускневшее зеркальце, висевшее над умывальником. Он тщательно вытер его полотенцем и смотрел на себя долго и внимательно. В сущности он рассматривал себя впервые в жизни. Его глаза были созданы, чтобы видеть, но до сих пор они были прикованы к непрестанно меняющемуся облику мира, и у него не оставалось времени взглянуть на себя. Теперь он видел перед собой лицо двадцатилетнего юноши, но никак не мог решить, красиво оно или нет, так как у него не было критерия для подобной оценки. Он увидел копну каштановых волос, вьющихся над высоким крутым лбом. Его кудри нравились женщинам, они любили перебирать их и гладить. Но он не стал приглядываться к волосам, считая, что для нее они не могут иметь никакого значения, и сосредоточенно и вдумчиво смотрел на свой лоб, пытаясь проникнуть в него, узнать, что за ним скрывается. Он настойчиво спрашивал себя, какой у него мозг? Чего можно ждать от этого мозга? Куда он заведет его?

Приведет ли он его к ней?

Мартин спрашивал себя, видна ли душа в этих иссиня-серых глазах, которые часто становились совсем голубыми, точно вбирали в себя блеск морской глади, озаренной солнцем. Он гадал, могли ли его глаза понравиться ей. Он попытался посмотреть в них так, как смотрела бы она, но из этого ничего не вышло. Он обычно легко угадывал мысли других людей, но все это были люди, жизнь которых он хорошо знал. А ее жизни он не знал совсем. Она была загадка и чудо, – где ж ему было угадать хоть одну ее мысль? Ну, что ж, решил он наконец, это честные глаза, ни гнусности, ни коварства в них нет. Его удивил темный цвет его лица; он никогда не думал, что так черен. Он засучил рукава рубашки и сравнил белую кожу повыше локтя с кожей лица. Нет, он все-таки белый. Но руки были тоже загорелые. Тогда он согнул руку и, напрягая бицепсы,

постарался разглядеть те части рук, которых вовсе не касалось солнце. Они были очень белы. Он рассмеялся при мысли, что и это бронзовое лицо в зеркале было некогда так же бело; ему не приходило в голову, что на свете не так уж много нашлось бы женщин, которые могли похвастаться такой же белой кожей, как у него, – там где она не была обожжена солнцем.

Рот у него был бы совсем как у херувима, если бы он не имел обыкновения, когда сердился, крепко сжимать свои чувственные губы, что придавало ему какую-то суровость, строгость почти аскетическую. Это были губы воина и любовника. Они могли всласть наслаждаться жизнью, но умели при случае и повелевать. Подбородок и чуть тяжеловатая нижняя челюсть подчеркивали властное выражение лица. Сила уравновешивала в нем чувственность, и потому он любил здоровую красоту и откликался на здоровые чувства. А между губами блестели зубы, которые ни разу еще не нуждались в услугах дантиста. Они были белые, крепкие и ровные, – так он решил, когда рассмотрел их как следует. Но тотчас же он почувствовал смущение. Где-то в его памяти шевельнулось смутное представление о том, что некоторые люди ежедневно чистят зубы. То были люди высшего круга, ее круга. Она, вероятно, тоже чистит зубы каждый день. Что она подумает о нем, если узнает, что он ни разу в жизни не чистил зубов? Он решил завтра же купить щетку и ввести это в обычай. Одними подвигами ее не завоюешь. Он должен произвести изменение во всем, что касалось его особы, начиная с чистки зубов и кончая ношением воротничка, хотя, надевая крахмальный воротничок, он всегда чувствовал себя так, будто его лишили свободы.

Мартин поднял руку и поскреб пальцем мозолистую ладонь, глядя на грязь, которая, казалось, въелась в тело так, что ее не соскоблишь и щеткой. Какая ладонь у нее! Даже вспомнить, и то было приятно. Нежная, точно лепесток розы; прохладная и легкая, как снежные хлопья. Мартин никогда не подозревал, что женская рука может быть такой мягкой и нежной. Он подумал, какое наслаждение должна доставлять ласка такой руки, и, поймав себя на этой мысли, покраснел и смутился. Эта мысль была слишком груба для нее и унижала ее духовную красоту. Руфь была бледным духом, призраком, парящим где-то далеко от всего земного. И все же он не мог отогнать воспоминания о ее мягкой ладони. Он привык к жестким, огрубевшим в труде рукам фабричных работниц и женщин, измученных домашней работой. Да, конечно, он понимал, почему так грубы их руки. Ее рука была нежной и мягкой потому, что ей был незнаком труд. Пропасть снова разверзлась между ними, как только он подумал о том, что есть люди, которым не нужно работать для того, чтобы жить. Он вдруг увидел перед собой образ аристократии, людей, не знающих труда. Этот образ возник на

грязно-белой стене, надменный и внушительный, как бронзовая фигура. Мартин работал всю жизнь, с тех пор как он себя помнил; и вся его семья трудом добывала себе пропитание, взять хотя бы Гертруду. Ее натруженные от стирки руки распухали и делались красными, как вареное мясо. Или другая его сестра, Мэриен. Она работала на консервном заводе, и ее маленькие хорошенькие ручки были сплошь в ссадинах от ножей, которыми резали помидоры. Кроме того, прошлой зимой, когда она работала на картонажной фабрике, ей машиной отхватило два пальца. Он вспомнил грубые руки своей матери, сложенные крест-накрест в гробу. Отец его тоже работал до конца дней, и на его ладонях наросли мозоли чуть не в полдюйма толщиною. А у нее руки были нежные, и не только у нее, но и у ее матери и братьев. Последнее особенно поразило его; это был красноречивый знак касты, доказательство огромности расстояния, их разделявшего. Мартин с горькой усмешкой опять сел на кровать и снял, наконец, башмаки. С ума он сошел – опьянел от женского лица, от нежных женских рук. И вдруг перед его глазами всплыло новое видение. Он стоит перед огромным мрачным домом в лондонском Ист-Энде, ночью, а рядом с ним стоит Марджи, девчонка-работница лет пятнадцати. Он провожал ее домой после гулянья. Она жила в этом грязном доме, похожем на большой хлев. Прощаясь, Мартин протянул ей руку. Она подставила ему губы для поцелуя, но ему не хотелось целовать ее. Что-то в ней его отпугивало. Тогда она с лихорадочным трепетом сжала ему руку. Мартин почувствовал мозоли на ее маленькой ладони, и его вдруг захлестнула волна жалости. Он видел ее молящие голодные глаза, ее тщедушное, полудетское тело, в котором уже проснулся несмелый, но жадный инстинкт женщины. Тогда, в порыве сострадания, он обнял ее и поцеловал в губы. Он услыхал ее радостный возглас и почувствовал, как она, словно кошка, прижалась к нему. Бедный маленький заморыш! Мартин смотрел на это видение далекого прошлого. У него побежали мурашки по телу, как тогда, в ту минуту, когда она прильнула к нему, и сердце его сжалось от грусти. Это было серое видение: небо тогда было серо, и серый дождь моросил над грязными плитами мостовой. Но вдруг яркий свет озарил стену, и, затмевая все образы и видения, перед ним засияло ее бледное лицо в короне золотых волос, далекое и недостижимое, как звезда.

Он взял со стула томики Суинберна и Броунинга и поцеловал их. А все-таки она звала меня приходить, подумал он. Потом снова взглянул на себя в зеркало и сказал громко и торжественно:

– Мартин Иден, первое, что ты сделаешь завтра утром, – это пойдешь в бесплатную читальню и почитаешь что-нибудь о правилах хорошего тона. Понял?

После этого он погасил газ, и пружины застонали под грузом его тела.

– А главное, Мартин, ты должен поменьше чертыхаться. Слышишь, старина! Заруби это себе на носу!

Сказав так, он заснул, и сны его по смелости и необычайности могли сравниться только с грезами курильщика опиума.

Глава 5

Проснувшись на другое утро, он почувствовал запах мыла и грязного белья и забыл свои розовые сны. До него донеслась перебранка и ругань людей, начавших трудовой день. Выйдя из своей комнаты, он услышал сердитый окрик и звук затрещины, которой его сестра наградила кого-то из детей, чтобы дать выход своему раздражению. Визг ребенка, словно ножом, резнул его слух. Все здесь казалось ему отвратительным, даже самый воздух, которым он дышал. Как все это не похоже на покой и гармонию, царившие в доме, где жила Руфь! Там все было возвышенно и духовно; здесь – материально, грубо материально.

– Иди сюда, Альфред, – крикнул он плачущему ребенку и запустил руку в карман, где у него лежали деньги. К деньгам он относился небрежно, в этом сказывалась его широкая натура. Он сунул мальчугану монету и взял его на руки, чтобы успокоить.

– Ну, а теперь беги купи себе леденцов да поделись с братьями и сестрами. Выбери такие, чтобы подольше не таяли.

Его сестра на миг распрямилась над лоханью и посмотрела на него.

– Довольно было бы одного пенса, – сказала она, – ты не знаешь цены деньгам. Мальчик теперь объестся.

– Ничего, – ответил он весело, – мои денежки сами знают себе цену. Доброе утро, сестренка, если бы ты не была так занята, ей-богу поцеловал бы тебя.

Ему хотелось быть поласковее с сестрой; сердце у нее было доброе, и она, по-своему, (он это знал) любила его. Правда, с годами она все больше и больше теряла свой прежний облик, становилась сварливой и раздражительной. Он решил, что эта перемена объясняется тяжелым трудом, большой семьей и нудным характером супруга. И вдруг ему пришло в голову, что за это время она словно пропиталась запахом этих гнилых овощей, грязного белья и захватанных медяков, которые она считала за прилавком.

– Ступай-ка лучше завтракать, – сказала она внешне сурово, но в глубине души довольная; из всех ее странствующих по миру братьев Мартин всегда был самым любимым. – Ну, иди ко мне, я тебя поцелую, – прибавила она, поддавшись неожиданному порыву.

Она обобрала пальцами пену, сначала с одной руки, потом с другой. Мартин обнял ее тяжеловесный стан и поцеловал влажные, распаренные губы. Слезы навернулись у нее на глазах не столько от полноты чувств, сколько от слабости, вызванной постоянным переутомлением. Она оттолкнула его, но он все-таки успел заметить ее слезы.

– Завтрак в печке, – прибавила она быстро. – Джим, наверное, уже встал. Я сегодня из-за стирки поднялась ни свет ни заря. Иди скорей поешь, да и уходи из дому; у нас сегодня тяжелый денек. Том уволился, стало быть, Бернарду самому придется ехать с подводой.

Мартин с тяжелым сердцем отправился на кухню. Красное лицо сестры и ее неряшливый вид врезались ему в память. Она бы любила меня, если бы у нее нашлось время, подумал Мартин. Но она надрывается на работе. Скотина этот Бернард Хиггинботам, что заставляет ее так работать. И в то же время, Мартин никак не мог отделаться от мысли, что в поцелуе сестры не было ничего красивого.

Правда, этот поцелуй сам по себе был необычен. Уже много лет она целовала его, лишь провожая в плавание или встречая по возвращении домой. Но в этом поцелуе чувствовался вкус мыльной пены, а губы ее были дряблы. Они не прижимались быстро и упруго к его губам, как должно быть в поцелуе. Это был поцелуй женщины настолько усталой, что она забыла даже, как целуются. Он невольно вспомнил, как до замужества она могла плясать всю ночь напролет после дня тяжелой работы и, как ни в чем не бывало, прямо с танцев отправлялась опять в свою прачечную. Тут Мартин снова подумал о Руфи и о

том, что губы у нее, должно быть, такие же свежие, как и вся она. Она целует, вероятно, так же, как смотрит, как жмет руку: крепко и искренно. Он даже дерзнул представить себе, как ее губы прикасаются к его губам, и представил это так живо, что у него закружилась голова. Ему казалось, что он медленно плывет в облаке из розовых лепестков, опьяняющих его своим ароматом.

В кухне он нашел Джима, другого жильца, который медленно ел овсяную кашу, уставясь в пространство тупым, отсутствующим взглядом. Он был подмастерьем слесаря, и его вялый нрав и безвольный подбородок в сочетании с некоторой умственной отсталостью не сулили ему удачи в борьбе за существование.

– Ты почему не ешь? – спросил он, видя, как неохотно ковыряет Мартин свою овсянку. – Опять напился вчера?

Мартин отрицательно покачал головой. Он был подавлен убожеством всего, что его окружало. Руфь Морз казалась теперь еще дальше.

– А я напился, – сказал Джим с нервным хихиканьем, – нализался в доску. Эх, хороша же была девочка! Билль приволок меня домой.

Мартин кивнул головой в знак того, что слушает, – у него была бессознательная привычка проявлять таким образом внимание к собеседнику, к любому собеседнику. Потом он налил себе чашку едва теплого кофе.

– Пойдешь сегодня потанцевать в «Лотос»? – спросил Джим. – Будет пиво. А если явится компания из Темескаля, то без драки не обойдется. Мне, конечно, начхать. Я все равно притащу туда свою девчонку. Фу!.. Ну и вкус во рту у меня. Черт знает что такое!

Он скорчил гримасу и поспешил прополоскать рот глотком кофе.

– Ты Джулию знаешь? – Мартин покачал головой.

– Она теперь со мной – объяснил Джим. – Конфетка, а не девочка! Я бы тебя познакомил, да ты отобьешь. Ей-богу, я не понимаю, из-за чего девчонки на тебя так вешаются. Даже зло берет, когда видишь, как тебе ничего не стоит отбить любую.

– У тебя я еще ни одной не отбил, – заметил Мартин равнодушно, только чтобы окончить завтрак без ссоры.

– Как же так, – возразил тот, – а Мэгги?

– Да у меня с ней не было ничего. Я даже не танцевал с ней после того раза.

– Вот то-то и оно, – вскричал Джим, – ты только потанцевал с ней да глянул на нее разок-другой – и готово дело. Ты, может, ничего такого и не думал. А она после на меня и смотреть не стала. Все время только про тебя и спрашивала. Если бы ты захотел, она бы тебе сразу же назначила свидание.

– Но я ведь не захотел.

– Неважно. Я все равно получил отставку. – Джим посмотрел на него с восхищением. – И как это тебе удается, Мартин?

– Мало о них думаю, вот и все, – отвечал тот.

– Ты, стало быть, делаешь вид, что тебе на них наплевать? – допытывался Джим.

Мартин с минуту раздумывал над ответом.

– Может, это и подействовало бы. Но я-то в самом деле вовсе о них не думаю. А ты попробуй сделать вид, может что и выйдет.

– Жаль, тебя вчера не было у Райли, – объявил вдруг Джим без всякой логической последовательности, – там был один красавчик из Западного Окленда, по прозванию «Крыса». Ох, и увертлив в драке! Никому из наших ребят не удалось свалить его. Все жалели, что тебя нет! Где ты вчера шатался?

– Так, в Окленде – отвечал Мартин.

– В театре был?

Мартин отодвинул свою тарелку и пошел к двери.

– Так что, потанцуем сегодня? – крикнул Джим ему вслед.

– Да нет, едва ли, – ответил Мартин.

Он сбежал с лестницы и вышел на улицу, чувствуя потребность в свежем воздухе. Он задыхался в атмосфере этого дома, а беседа с Джимом привела его в ярость. Были мгновения, когда он чуть-чуть не вскочил и не ткнул его носом в тарелку с кашей. Чем больше болтал Джим, тем дальше уходила Руфь. Разве он может надеяться, живя среди таких скотов, стать когда-нибудь с нею рядом? Его приводила в отчаяние трудность стоящей перед ним задачи, он чувствовал безвыходность своего положения, положения человека из рабочего класса. Казалось, все кругом висело на нем мертвым грузом и не давало подняться – сестра, ее дом, ее семья, слесарь Джим, – все, к чему он привык, куда уходили корни его существования. Жизнь для него утратила вкус. До сих пор он принимал жизнь так, как она есть. Он никогда не задумывался над вопросом, хороша она или плоха, разве лишь когда читал книги. Но ведь то были только книги, прекрасные сказки о прекрасном несуществующем мире. А теперь он увидел этот мир существующим в действительности и женщину-цветок, по имени Руфь, в центре этого мира. И вот с этой поры он изведал горечь жизни, тоску и безнадежность, которая была особенно мучительна оттого, что надежда питала ее.

Мартин долго решал, куда пойти: в Берклейскую общедоступную читальню или в Оклендскую, и остановился на Оклендской. Как знать! Читальня – самое подходящее для нее место, и вполне возможно, что он встретит ее там. Он совершенно не был знаком с расположением отделов и скитался среди бесконечных полок беллетристики, пока какая-то худенькая, похожая на француженку девушка не сказала ему, что справочная библиотека находится наверху. Он не догадался обратиться к человеку, сидевшему за столом, и, двинувшись наугад, попал в отдел философии. Он слыхал о существовании философских книг, но никак не подозревал, что об этой науке столько написано. Высокие шкафы, набитые толстыми томами, подавляли его и в то же время подстрекали. Здесь было над чем поработать мозгу. В математическом отделе он нашел книги по тригонометрии и долго рассматривал казавшиеся ему бессмысленными формулы и чертежи. Он читал английские слова, но значение их от него ускользало. Это был какой-то особенный язык. Норман и Артур знали этот язык. Он слышал, как они говорили на нем. А они были ее братья. Мартин ушел из отдела философии с чувством безнадежности. Книги, казалось, надвигались со всех сторон и хотели задавить его. Он никогда не подозревал,

что человеческие знания так огромны. Его охватил страх: сумеет ли он одолеть все это? Но, тут же он вспомнил, что были люди – и много людей, – которые одолели. И он горячо поклялся, что сумеет постичь все то, что постигли другие.

Так он блуждал, переходя от отчаяния к восторгу, среди полок, уставленных сокровищами мудрости. В общем отделе он нашел «Конспективный курс» Норри. С благоговением он перелистал его. Здесь, по крайней мере, было что-то родное. Автор, как и он, был моряком. Потом он нашел книгу с надписью «Боудич» на корешке, сочинения Лекки и Маршала. Вот, отлично. Он займется изучением навигации. Бросит пить, начнет усиленно работать и станет капитаном. В этот миг Руфь казалась ему совсем близкой. Капитаном он уже может жениться на ней – если она захочет. А если не захочет – ну что ж, благодаря ей он будет жить хорошей, достойной жизнью, а пить во всяком случае бросит. Потом он вспомнил о страховщике и судовладельце, этих двух хозяевах капитана, интересы которых никогда не совпадают, и подумал о том, что каждый из них может погубить его, и наверняка погубит. Оглядев комнату, он даже зажмурился перед внушительным зрелищем десяти тысяч томов. Нет, с морем покончено. Здесь, в этом множестве книг, заключена огромная сила, и если он хочет совершать великие дела, то должен совершать их на суше! А, кроме того, капитанам не разрешается брать с собой в плавание жен.

Наступил полдень. Прошло еще некоторое время. Мартин забыл о еде и все рассматривал заглавия книг, ища руководство по правилам этикета. Его ум, помимо мыслей о карьере, был занят решением простой задачи: если молодая леди, прощаясь с вами, просит зайти еще раз, то как скоро можно это сделать? Но когда он набрел, наконец, на нужную книгу, он все же не получил ответа. Он пришел в ужас от сложности и многообразия форм этикета, запутался во всех этих наставлениях о порядке обмена визитными карточками, принятом в светском обществе, и отошел с грустью. Он не нашел того, что искал, но зато понял, что соблюдение всех форм вежливости требует огромного количества времени и для усвоения всех этих форм ему пришлось бы еще раз прожить жизнь.

– Ну что же, нашли вы, что вам нужно? – опросил его человек, сидевший за столом.

– Да, сэр, у вас отличная библиотека, – отвечал Мартин.

Человек кивнул головой.

– Приходите к нам почаще. Вы моряк?

– Да, сэр. Я приду еще как-нибудь.

«Как он узнал, что я моряк?» – спрашивал он себя, спускаясь с лестницы.

И, выйдя на улицу, он постарался идти прямо, без неуклюжего раскачивания. Он помнил об этом, пока не погрузился в размышления; а тогда зашагал своей обычной походкой.

Глава 6

Беспокойное томление, похожее на муки голода, овладело Мартином. Он изнывал от желания увидеть вновь девушку, чьи нежные руки с неожиданной цепкостью захватили всю его жизнь. Пойти к ней он не решался. Он боялся, что это будет слишком скоро и он, таким образом, нарушит этот страшный свод правил, именуемый этикетом. Он проводил долгие часы в Оклендской и Берклейской библиотеках, где записался на свое имя, на имя Гертруды, Мэрией и даже Джима, который дал согласие после того, как Мартин щедро угостил его пивом. На все четыре абонемента он набрал книг, и в его каморке почти всю ночь горел газ, за что он и платил мистеру Хиггинботаму лишних пятьдесят центов в неделю.

Но книги, которые он читал, только усиливали его беспокойство. Каждая страница в новой книге казалась ему лазейкой в сады знаний. Его голод становился еще острее от чтения этих книг. К тому же он не знал, с чего следовало начинать, и, конечно, очень страдал от отсутствия подготовки. Он не знал даже самых простых вещей, которые, очевидно, должен был знать всякий берущийся за книгу. То же самое можно было сказать и о поэзии, которую Мартин читал с необычайным увлечением. Из Суинберна он прочел не только то, что было в томике, данном ему Руфью. Он прочел и «Долорес» и отлично понял все; Руфь, вероятно, не понимала этого произведения, решил он. Как могла она понять, живя такой утонченной жизнью? Потом ему попались под руку стихотворения Киплинга, и он был заворожен музыкой, ритмом, волшебной образностью строк, говоривших о таких знакомых ему вещах. Его поразила та

любовь к жизни, та тонкость психологии, которая отмечала все стихи Киплинга. «Психология» была новым словом в лексиконе Мартина Идена. Он приобрел словарь, чем подорвал свои финансы и сократил срок пребывания на суше, а кроме того, привел в ярость мистера Хиггинботама, который предпочел бы получить эти деньги в уплату за комнату.

Днем он не решался даже приближаться к жилищу Руфи, но по ночам, словно вор, бродил вокруг дома Морзов, украдкой глядя на освещенные окна и испытывая нежность к самим стенам, которые ее окружали. Несколько раз он чуть-чуть не наткнулся на ее братьев, а однажды долго шел за мистером Морзом, изучая его лицо при свете уличных фонарей и страстно желая, чтобы почтенный джентльмен подвергся какой-нибудь смертельной опасности и предоставил Мартину случай спасти его жизнь. В другой раз он вдруг увидел Руфь в окне второго этажа. Видна была лишь ее голова, плечи и руки, по движениям которых он решил, что она причесывается. Это длилось одно мгновение, но и мгновения было достаточно, чтобы вся кровь заклокотала в нем и превратилась в пьянящее вино. Она, правда, тотчас же опустила штору, но он узнал, где ее комната, и после этого уже часами простаивал под деревом на противоположном тротуаре, выкуривая бесчисленное количество папирос. Однажды он увидел, как ее мать выходила из банка, и лишний раз убедился в неизмеримости расстояния, их разделяющего. Она принадлежала к тем, кто держит деньги в банке. Он за всю свою жизнь ни разу не входил в банк и был убежден, что подобные учреждения посещаются лишь очень богатыми и очень могущественными людьми.

В известном смысле, он переживал моральную революцию. Ее чистота и непорочность произвели на него такое впечатление, что он решил, во что бы то ни стало, тоже сделаться чистым. Он должен стать чистым, если хочет быть достойным дышать одним с нею воздухом. Он чистил зубы и беспрестанно скреб руки кухонной щеткой, пока в окне магазина не увидел щеточки для ногтей и не угадал ее назначения. Приказчик, взглянув на его ногти, предложил ему еще и ногтечистку, и, таким образом, его набор туалетных принадлежностей обогатился еще одним предметом. Он достал в библиотеке книгу о личной гигиене и вычитал в ней, что необходимо каждое утро обливаться холодной водой. Это позабавило Джима и сильно смутило мистера Хиггинботама, который, не сочувствуя подобным причудам, всерьез занялся обсуждением вопроса, не следует ли брать с Мартина особую плату за воду. Следующим шагом по пути прогресса была забота о фасоне брюк. Начав интересоваться этим вопросом, Мартин скоро заметил разницу между мешковатыми штанами рабочих и брюками людей высшего класса, с прямой складкой от колена до ступни.

Догадавшись, в чем тут секрет, Мартин отправился в кухню сестры за утюгом и гладильной доской; но первая попытка окончилась неудачей, он только спалил свои брюки и должен был купить новые, чем еще больше приблизил день ухода в плаванье.

Но внешними реформами дело не ограничилось. Курить он все еще продолжал, однако пить бросил. До сих пор он считал пьянство самым подходящим занятием для мужчин и даже очень гордился тем, что у него крепкая голова и он может продолжать пить и тогда, когда большинство собутыльников давно уже валяется под столом. В Сан-Франциско у него было много товарищей по прежним плаваньям, и при встречах он по-прежнему угощал их вином, но себе заказывал только кружку пива или легкого эля и добродушно сносил все насмешки. Он с любопытством наблюдал за тем, как они, напиваясь, постепенно доходили до скотского состояния, и радовался, что сам он уже не такой. У каждого из них были свои горести, и вино помогало им забыть действительность и перенестись в страну грез и фантазий. Но Мартину уже не нужен был алкоголь. Он находился в состоянии более глубокого опьянения, – он был пьян Руфью, которая зажгла в нем любовь и стремление к новой, лучшей жизни; пьян книгами, которые пробудили в нем мириады неиспытанных желаний; пьян мыслью о собственной чистоте, которая дала ему еще более полное, чем раньше, ощущение здоровья и заставила все его тело трепетать от физической радости существования.

Однажды Мартин отправился в театр в смутной надежде увидеть Руфь, и с балкона второго яруса он и в самом деле увидел ее. Она прошла по партеру в сопровождении Артура и еще какого-то странного молодого человека в очках, стриженного бобриком, который тотчас возбудил в Мартине тревогу и ревность. Она села в первом ряду, и он уже почти ничего не видал в течение всего вечера, кроме ее стройных плеч и золотых волос, затуманенных расстоянием. Но все же раз или два он оглянулся по сторонам и успел заметить двух девушек, сидевших через несколько мест от него; девушки эти улыбнулись и сделали ему глазки. Он всегда охотно знакомился, и не в его натуре было оставлять без ответа подобные знаки внимания. Еще недавно он непременно улыбнулся бы им в свою очередь, а затем пошел бы и дальше. Но теперь все переменилось. Он, правда, ответил улыбкой, но тотчас же после этого отвернулся и старался больше не смотреть в их сторону. Однако не один еще раз, совсем позабыв об этих девушках, он вдруг снова ловил их улыбки. Трудно измениться за один день, да к тому же он от природы был ласков и приветлив и поэтому невольно улыбался девушкам в ответ, улыбался просто, по-товарищески. Все это было старо, как мир. Он знал, что они ведут с ним обычную женскую игру. Но для него теперь

все стало иным. Там, далеко, в первом ряду, сидела женщина, единственная на свете, столь не похожая, столь бесконечно не похожая на этих двух девушек его класса, что к ним он уже не мог чувствовать ничего, кроме жалости. Он от души желал им обладать хоть крохотной долей ее божественной красоты. Ни за что на свете он не бросил бы им упрека в слишком дерзком заигрывании. Но оно не льстило ему: Мартин отлично понимал, что, принадлежи он к миру Руфи, девушки не стали бы заигрывать с ним. И при каждом их взгляде он чувствовал, как сжимаются вокруг него цепкие щупальца его мира и тянут его вниз.

Мартин покинул свое место незадолго до конца последнего акта, желая посмотреть на нее, когда она будет выходить. Множество ротозеев всегда толпилось у театрального подъезда, и легко можно было остаться позади незамеченным, если пониже надвинуть кепку на лоб и спрятаться за чьей-нибудь спиной. Он вышел раньше всех и смешался с толпой, но едва он занял свою наблюдательную позицию, как появились те две девушки. Он знал, что они ищут его, и в этот миг проклинал ту силу, которая притягивала к нему женщин. Сначала они как будто не заметили его, но он скоро понял, что это только маневр. Подходя ближе, они замедлили шаг, и, наконец, одна из них, проходя мимо, задела его плечом и оглянулась, делая вид, словно только сейчас его узнала. Это была стройная брюнетка с черными лукавыми глазами. Обе девушки опять улыбнулись ему, и он тоже улыбнулся им в ответ.

– Хелло, – сказал он.

Это было сказано совершенно машинально, как часто приходилось произносить это слово в подобных случаях. Впрочем, природное добродушие и приветливость не позволили бы ему поступить иначе. Черноглазая девушка улыбнулась весело и вызывающе и, взяв под руку свою подругу, выразила желание остановиться; подруга хихикнула в знак согласия. Он почувствовал ужас: Руфь могла пройти мимо и увидеть его разговаривающим с этими девушками. Тогда он просто, как будто так и нужно было, шагнул к черноглазой и пошел рядом с нею. Здесь его речь и его манеры уже не могли показаться неловкими. Здесь он был как у себя дома, мог проявить и остроумие, и щегольнуть жаргонными словечками, мог смеяться и болтать о чем угодно, пользуясь всеми преимуществами быстрого и случайного знакомства. Дойдя до угла, он сделал попытку отстать от толпы, стремившейся вперед, и свернуть в переулок. Но черноглазая девушка схватила его за локоть, не выпуская руки своей подруги, и воскликнула:

– Постой, Билл. Куда так спешишь? Уж не хочешь ли ты удрать от нас?

Мартин остановился и, смеясь, повернулся к ним лицом. Позади них, под ярким светом уличных фонарей, струился людской поток. Там, где они стояли, было сравнительно темно, и он мог, оставаясь незамеченным, увидеть ее, если бы она прошла мимо. А пройти она должна была непременно, потому что эта дорога вела к ее дому.

– Как ее зовут? – спросил он, указывая на черноглазую и обращаясь к ее хихикающей подруге.

– Это уж вы ее спросите, – отвечала та с хохотом.

– Ну, как же? – спросил он, оборачиваясь к черноглазой.

– А вы мне разве сказали, как вас зовут? – возразила она.

– Да вы и не спрашивали, – улыбнулся он, – впрочем, вы угадали. Меня и в самом деле зовут Билл. Верно, верно!

– Подите вы! – Она посмотрела на него долгим взглядом, зовущим и откровенно страстным. – Ну, по чести! Говорите!

И посмотрела снова. Вся исконная женская сущность, не изменившаяся за много веков, отражалась в ее взгляде. И Мартин уже знал, что будет дальше: теперь она начнет отступать смиренно и робко, готовая в любой миг перейти в наступление, как только почувствует, что в нем остывает пыл погони. Как-никак, он был мужчина, чувствовал к ней невольное влечение, и ее страстные взоры льстили его самолюбию. О, он прекрасно знал этих девчонок, знал их насквозь! Славные, хорошие девушки, насколько могли быть хорошими девушки этого класса, добывающие себе пропитание тяжелым трудом. Слишком гордые, чтобы продавать свои ласки, они искали хоть немножко счастья в житейской пустыне, стараясь не заглядывать в бездну, именуемую будущим, где ждала их или тяжкая, бесконечная работа, или хотя и лучше оплачиваемая, но страшная дорога.

– Билл, – отвечал он снова. – Ей-богу! Билл Пит, никак не иначе.

– Шутите? – переспросила она.

– И вовсе не Билл, – вмешалась другая.

– А вы почем знаете? Вы меня никогда и в глаза невидали.

– Ну и что ж, что не видела! И так знаю, что врете!

– Ну как же – Билл? – спрашивала первая.

– Пусть будет Билл, – дружелюбно сказал он. Она ухватила его за плечо и весело тряхнула.

– Так и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе. – Он пожал ее ищущую руку и на ладони нащупал знакомые царапины и шрамы.

– Давно ушли с консервного завода? – просил он.

– Вы почем знаете? Вы уж не ясновидящий ли? – вскричали обе девушки.

И, обмениваясь с ними разными глупыми шутками, он вдруг мысленно увидел перед собой огромные тома библиотеки, хранящие мудрость веков. Он с горечью улыбнулся неуместному сейчас видению, и опять сомнения охватили его. Но за всеми этими мыслями и словами он не упускал из виду поток уличной толпы. И вот он увидел ее в ярком свете фонарей, она шла между братом и незнакомым юношей в очках. Сердце его замерло. Он долго ждал этого мгновения. Он успел разглядеть что-то легкое и воздушное вокруг ее царственной головки, стройные контуры ее фигуры, изящество походки, движение, которым она подобрала юбку, когда переходила через улицу. И вот она прошла, а он остался с этими двумя работницами, стоял и смотрел на их убогие платья, носившие следы жалких и отчаянных попыток принарядиться, их дешевые ботинки, дешевые ленточки, дешевые колечки на грубых пальцах. Кто-то тронул его за руку, и он услыхал голос, сказавший:

– Проснитесь, Билл. Что такое с вами?

– Что вы сказали? – переспросил он.

– Да так, ничего особенного, – отвечала черноглазая, тряхнув головой, – я только подумала…

– Что?

– Было бы недурно, если бы вы подыскали кавалера для нее, – она указала на подругу, – и мы бы пошли куда-нибудь выпить кофе и поесть мороженого.

Он почувствовал внезапно какую-то духовную тошноту. Уж очень груб был переход от Руфи ко всему этому. Рядом с зовущими глазами этой девушки Мартин увидел вдруг лучезарные, ясные глаза Руфи, глаза святой, взиравшие на него с недосягаемых высот чистоты. И он почувствовал в себе великую силу. Он выше всего этого. Жизнь для него нечто большее, чем для этих девушек, мечтающих о кавалерах и о мороженом. Он вспомнил, что и раньше он жил в своих мыслях особой, тайной жизнь. Он пробовал иногда поверять эти мысли другим, но до сих пор не нашлось ни одной женщины, способной их понять, да и ни одного мужчины тоже. Если он высказывал их вслух, слушатели смотрели на него с недоумением. Да, если его мысли им недоступны – значит, и сам он выше их. Он почувствовал в себе силу и сжал кулаки. Если жизнь для него нечто большее, то он вправе и требовать от нее большего, но только, конечно, не здесь, не в общении с этими людьми. Эти черные глаза ничего не могли дать ему. Он знал, какие мечты отражены в их взгляде, – о мороженом и еще, пожалуй, кое о чем. Тогда как ее неземной взор обещал ему все, к чему он стремился, и еще бесконечно многое. Книги, картины, красоту и спокойствие, изящество возвышенной и утонченной жизни – вот что обещал этот взор. За черными глазами совершался мыслительный процесс, известный ему во всех подробностях. Это был как бы часовой механизм. Он мог наблюдать каждое колесико. Они звали к пошлым, низменным утехам, ведущим к пресыщению, в конце которых зияла могила. А тот неземной взор звал к проникновению в непостижимую тайну, в чудо вечной жизни. В нем он видел отражение ее души и отражение своей души также.

– В программе одна ошибка, – сказал он громко, – я сегодня занят.

В глазах девушки отразилось разочарование.

– Вздумали навестить больного друга? – съязвила она.

– Нет, зачем… У меня свидание… – он запнулся, – с одной девушкой.

– Не врете? – спросила она строго. Он поглядел ей в глаза и ответил:

– Честное слово, правда. Но мы можем встретиться в другой раз. Как вас зовут? Где вы живете?

– Меня зовут Лиззи, – отвечала она, пожимая ему руку и всем телом приникая к нему, – Лиззи Конолли. Я живу на Пятой улице, у рынка.

Они еще поболтали минут пять, прежде чем проститься. Мартин не хотел сразу идти домой. Он пошел к знакомому дереву, встал на привычное место под ее окном и прошептал взволнованно:

– У меня свидание с вами, Руфь. Я не хочу других свиданий.

Глава 7

Прошла неделя с того дня, как Мартин познакомился с Руфью, а он все еще не решался пойти к ней. Иногда он уже совсем готов был решиться, но всякий раз сомнения одерживали верх. Он не знал, спустя какой срок прилично повторить посещение, и не было никого, кто бы мог ему сказать это, а он боялся совершить непоправимую ошибку. Он отошел от всех своих прежних товарищей и порвал с прежними привычками, а новых друзей у него не было, и ему оставалось только чтение. Читал он столько, что обыкновенные человеческие глаза давно уже не выдержали бы такой нагрузки. Но у него были выносливые глаза и крепкий, выносливый организм. Кроме того, до сих пор он жил в стороне от абстрактных книжных мыслей, и мозг его представлял собой нетронутую целину, благодатную почву для посева. Он не был утомлен науками и теперь мертвой хваткой вцеплялся в книжную премудрость.

К концу недели Мартину показалось, что он прожил целые столетия – так далека была прежняя жизнь и прежнее отношение к миру. Но ему все время мешал недостаток подготовки. Он брался за книги, которые требовали многих лет специального изучения. Сегодня он читал книги по античной, завтра по новой

философии, так что в голове у него царила постоянная путаница идей. То же самое было и с экономическими учениями. На одной и той же полке в библиотеке он нашел Карла Маркса, Рикардо, Адама Смита и Милля, и непонятные ему формулы одного опровергали утверждения другого. Он совершенно растерялся и все-таки хотел все знать, одновременно увлекаясь и экономикой, и индустрией, и политикой. Однажды, проходя через Сити-Холл-парк, он увидел толпу, окружившую человек пять или шесть, которые, по всей видимости, были заняты каким-то горячим спором. Он подошел поближе и тут в первый раз услыхал еще незнакомый ему язык народных философов. Один был бродяга, другой – профсоюзный агитатор, третий – студент университета, а остальные – просто любители дискуссий из рабочих. Впервые он услыхал об анархизме, социализме, о едином налоге, узнал, что существуют различные, враждебные друг другу, системы социальной философии. Он услыхал сотни совершенно новых для него терминов из таких областей науки, которые еще не вошли в его скудный обиход сведений. Вследствие этого он не мог следить за развитием спора и лишь чутьем угадывал идеи, скрытые в этих странных словах. Был среди спорщиков черноглазый лакей из ресторана – теософ, член профсоюза пекарей – агностик, какой-то старик, сразивший всех своей удивительной философией, основанной на утверждении, что все сущее справедливо, и еще один старик, пространно рассуждавший о космосе, об атоме-отце и об атоме-матери.

У Мартина Идена голова распухла от всех этих рассуждений, и он поспешил в библиотеку посмотреть значение десятка врезавшихся в его память слов. Уходя из библиотеки, он нес под мышкой четыре толстых тома «Тайная доктрина» госпожи Блаватской, «Прогресс и бедность», «Квинтэссенция социализма», «Война религии и науки». К несчастью, он начал с «Тайной доктрины». Каждая строчка в этой книге изобиловала многосложными словами, которых он не понимал. Он сидел на кровати и чаще смотрел в словарь, чем в книгу. Он вычитал столько слов, что, запоминая одни, забывал другие и должен был снова искать в словаре. Он решил записывать слова в особую тетрадку и в короткий срок исписал десятка два страниц. И все-таки он ничего не мог понять. Он читал до трех часов утра; у него уже ум за разум зашел, а все же ни одной существенной мысли он в тексте не уловил. Он поднял голову, и ему показалось, что вся комната ходит ходуном, как корабль во время качки. Тогда он выругался, отшвырнул «Тайную доктрину», потушил газ и решил заснуть. Не лучше пошло дело и с остальными тремя книгами. И не то, чтобы мозг его был слаб или невосприимчив: он мог бы усвоить все эти мысли, но ему не хватало тренировки и не хватало словесного запаса. Он, наконец, понял это и одно время носился даже с мыслью читать один только словарь, пока он не выучит наизусть все незнакомые слова.

Единственным утешением была для Мартина поэзия: он с восторгом читал тех простых поэтов, каждая строчка которых была ему понятна. Он любил красоту, а здесь он находил ее в изобилии. Поэзия действовала на него так же сильно, как и музыка, и незаметным образом подготовляла его ум к будущей, более трудной работе. Страницы его памяти были пусты, и он без всякого усилия запоминал строфу за строфой, так что скоро мог уже вслух произносить целые стихотворения, наслаждаясь гармоническим звучанием оживших печатных строк. Однажды он случайно наткнулся на «Классические мифы» Гэйли и «Век сказки» Бельфинча. Словно луч яркого света прорезал вдруг мрак его невежества, и его еще больше потянуло к поэзии.

Человек за столом уже знал Мартина, был очень приветлив с ним и дружелюбно кивал головой, когда Мартин приходил в библиотеку. Поэтому Мартин решился однажды на смелый поступок. Он взял несколько книг и, когда библиотекарь штемпелевал его карточки, пробормотал:

– Послушайте, можно вас спросить кой о чем? – Библиотекарь улыбнулся и ободряюще кивнул головой.

– Если вы познакомились с молодой леди и она просила вас зайти… так вот… когда можно это сделать?

Мартин почувствовал, что рубашка прилипла к его спине, вспотевшей от волнения.

– Да когда угодно, по-моему, – отвечал библиотекарь.

– Нет, вы не понимаете, – возразил Мартин. – Она… видите ли, в чем штука ее может не быть дома. Она ходит в университет.

– Ну, другой раз зайдете.

– Собственно дело даже не в этом, – признался Мартин, решившись, наконец, отдаться на милость собеседника, – я, видите ли, простой матрос, я не очень-то привык к такому обществу. Эта девушка совсем не то, что я, а я совсем не то, что она… Вы не подумайте, что я дурака ломаю, – перебил он вдруг сам себя.

– Нет, нет, что вы, – запротестовал библиотекарь. – Правда, ваш запрос не в компетенции справочного отдела, но я с удовольствием постараюсь помочь вам.

Мартин посмотрел на него с восхищением.

– Эх, если бы я умел так шпарить, вот это было бы дело, – сказал он.

– Виноват…

– Я хочу сказать, что все было бы хорошо, если бы я умел так складно и вежливо говорить, как вы.

– А! – сочувственно отозвался библиотекарь.

– Когда лучше прийти? Днем? Только так, чтобы не угодить к обеду? Или вечером? А может, в воскресенье?

– Знаете, что я вам посоветую, – сказал, улыбаясь, библиотекарь, – вы ей позвоните по телефону и спросите.

– А ведь верно! – воскликнул Мартин, собрал книги и пошел к выходу.

На пороге он обернулся и спросил:

– Когда вы разговариваете с молодой леди – ну, скажем, мисс Лиззи Смит, – как надо говорить: мисс Лиззи или мисс Смит?

– Говорите «мисс Смит», – сказал библиотекарь авторитетным тоном, – говорите «мисс Смит», пока не познакомитесь с ней поближе.

Итак, проблема была разрешена.

– Приходите когда угодно. Я всегда дома после обеда, – отвечала по телефону Руфь на его робкий вопрос, когда он может возвратить ей взятые у нее книги.

Она сама встретила его у двери, и ее женский глаз сразу отметил и отутюженную складку брюк, и какую-то общую неуловимую перемену к лучшему. Но удивительнее всего было выражение его лица. Казалось, в нем переливалась через край здоровая сила и волной захлестывала ее, Руфь. Снова она почувствовала желание прижаться к нему, ощутить теплоту его тела и снова поразилась тому, как действовало на нее его присутствие. А он, в свою очередь, вновь ощутил блаженный трепет, когда она подала ему руку. Разница между ними была в том, что она внешне ничем не обнаруживала своего волнения, в то время как он покраснел до корней волос.

Он последовал за ней, так же неуклюже переваливаясь на ходу. Но когда они уселись в гостиной, Мартин, против ожидания, почувствовал себя довольно непринужденно. Она всячески старалась создать у него это ощущение непринужденности и делала это так деликатно и бережно, что стала ему еще во сто крат милее. Сначала они поговорили о книгах, о Суинберне, которым он восхищался, и о Броунинге, который был для него непонятен. Руфь направляла разговор, а сама все думала о том, как бы помочь ему. Она часто думала об этом после их первой встречи. Ей непременно хотелось помочь ему. Она чувствовала нежность и жалость к нему, но в этой жалости не заключалось ничего обидного: это было никогда не испытанное ею прежде, почти материнское чувство. Да и могла ли это быть простая, обычная жалость, если в человеке, ее вызывавшем, она настолько чувствовала мужчину, что одна его близость порождала в ней безотчетный девический страх, и заставляла сердце биться от странных мыслей и чувств. Опять возникло у нее желание обнять его за шею или положить руки ему на плечи. И по-прежнему это желание смущало ее, но она уже к нему привыкла. Ей не приходило в голову, что зарождающаяся любовь может принимать такие формы. Но ей не приходило в голову также и то, что чувство, охватившее ее, можно назвать любовью. Ей казалось, что Мартин просто заинтересовал ее как человек необычный, с огромными потенциальными возможностями, и что ею руководят чисто филантропические побуждения.

Она не понимала, что желает его, но с ним дело обстояло иначе. Мартин знал, что любит Руфь; и знал, что желает ее так, как никогда еще не желал в своей жизни. Он и прежде любил поэзию, как любил все прекрасное, но после встречи с ней перед ним открылись врата в огромный мир любовной лирики. Она дала ему гораздо больше, чем Бельфинч и Гэйли. Неделю тому назад он не стал бы задумываться над такой, например, строчкой: «Печальный юноша, он одержим любовью и в поцелуе умереть готов», но теперь слова эти не выходили у него из головы. Он восхищался ими, как величайшим откровением; он смотрел на Руфь и думал, что с радостью умер бы в поцелуе. Он чувствовал себя тем самым

печальным юношей, который «одержим любовью», и гордился этим больше, чем мог бы гордиться возведением в рыцарское достоинство. Он постиг, наконец, смысл жизни и цель своего существования на земле.

Когда он смотрел на нее и слушал ее, его мысли становились смелее. Он вспоминал наслаждение, испытанное при пожатии ее руки, и жаждал почувствовать его снова. Порою он с жадным томлением смотрел на ее губы. Но ничего грубого и земного в этом томлении не было. Ему доставляло невыразимое наслаждение ловить каждое движение ее губ в то время, как она говорила, это не были обычные губы, какие бывают у всех женщин и мужчин. Они были не из плоти и крови. Это были уста бесплотного духа, и желание их поцеловать совершенно не было похоже на желание, возбуждаемое другими женщинами. Он, конечно, охотно прижал бы к этим небесным устам свои губы, но это было бы все равно, как если бы он приложился к образу самого господа бога. Он не мог разобраться в той своеобразной переоценке ценностей, которая в нем происходила, и не понимал, что в конце концов, когда он смотрит на нее, глаза его горят тем самым огнем, которым горят глаза всякого мужчины, жаждущего любви. Он не подозревал, как пылок и мужественен его взгляд, как глубоко он волнует ее всю. Ее девственная непорочность облагораживала для него его собственные чувства, и возносила их на высоту холодного целомудрия звезд. Он был бы потрясен, узнав, что его глаза излучают таинственное тепло, которое проникает в недра ее существа, и там зажигают ответный огонь. Смущенная, встревоженная его взглядом, она несколько раз теряла нить разговора и с немалым трудом вновь собирала обрывки мыслей. Обычно она не затруднялась в разговоре и теперь объясняла свое состояние исключительностью своего собеседника. Она была очень восприимчива ко всякого рода впечатлениям, и, в конце концов, не было ничего удивительного, что этот пришелец из другого мира смущал ее.

Она думала, как помочь ему, и хотела начать беседу в этом направлении, но Мартин сам пришел ей на помощь.

– Не знаю, могу ли я попросить у вас совета, – начал он и едва не задохнулся от радости, когда она выразила готовность сделать для него все, что будет в ее силах.

– Помните, я в тот раз говорил, что не умею говорить о книгах, о всяких таких вещах, ничего у меня из этого не получается. Ну вот, я с тех пор много передумал. Стал ходить в библиотеку, набрал там всяких книг, но только все они

не для моего ума. Может, лучше начать сначала? Я ведь по-настоящему и не учился никогда. Мне пришлось работать с самого детства, а вот теперь я пошел в библиотеку, посмотрел на книги, почитал – и вижу, что раньше читал я совсем не то, что нужно. Понимаете, где-нибудь на ферме или в пароходном кубрике таких книг не найдешь, как, скажем, у вас в доме. Там чтение другое, и вот к такому-то чтению я как раз и привык. А между тем, скажу не хвастаясь, я не такой, как те, с кем я водил компанию. Не то, чтобы я был лучше других матросов и ковбоев, я и ковбоем тоже был, – но я, видите ли, всегда любил книги и всегда читал все, что попадалось под руку, и мне кажется, у меня голова работает на иной манер, чем у моих товарищей. Но дело-то еще не в этом. Дело вот в чем. Я никогда не бывал в таких домах, как ваш. Когда я к вам пришел на той неделе и увидел вас, и вашу мать, и ваших братьев, и как тут у вас все, – мне очень понравилось. Я раньше только в книжках читал про такое, но тут вот оказалось, что книги не врут. И мне понравилось. Мне захотелось всего этого, да и теперь хочется. Я хотел бы дышать таким воздухом, как у вас в доме, чтобы кругом были книги, картины и всякие красивые вещи, и чтобы люди говорили спокойно и тихо, и были чисто одеты, и мысли чтоб у них были чистые. Тот воздух, которым я всю жизнь дышал, пахнет кухней, вином, руганью и разговорами о квартирной плате. Когда вы встали, чтобы поцеловать свою мать, мне это показалось так красиво, – ничего красивее на свете я не видел. А я повидал немало и могу сказать – всегда видел больше, чем другие. Я очень люблю смотреть, и мне всегда хочется увидеть еще что-нибудь и еще.

Но это все не то. Самое главное вот: мне бы хотелось дойти до такой жизни, какою живете вы здесь, в этом доме. Жизнь – это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос: как достичь этого? С чего мне начать? Работы я не боюсь; если уж говорить об этом, то я в работе любого перегоню. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю? Я, может, напрасно к вам обратился, но мне больше не к кому, по правде сказать, – вот разве к Артуру? Может, мне к нему и надо было пойти? Если я был…

Он вдруг замолчал. Весь его план зашатался при мысли, что надо было в самом деле спросить Артура и что он разыграл дурака. Руфь ответила не сразу. Она была поглощена тем, что пыталась связать воедино его нескладную речь и примитивные мысли с тем, что она читала в его глазах. Она никогда не видела глаз, в которых отражалась бы такая несокрушимая сила. Этот человек все может, – вот о чем говорил ей его взгляд, и это плохо вязалось с его словесной беспомощностью. К тому же ее собственный ум был так изощрен и сложен, что она не умела по-настоящему оценить простоту и непосредственность. И все же

даже в этом косноязычии мысли угадывалась сила. Мартин представлялся ей великаном, силящимся сорвать с себя оковы. Ее лицо дышало лаской, когда она заговорила.

– Вы сами знаете, чего вам не хватает, – сказала она, – вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала – кончить школу, а потом пройти курс в университете.

– Для этого нужны деньги, – прервал он ее.

– О, – воскликнула она, – я не подумала об этом! Но разве никто из ваших родных не мог бы поддержать вас?

Он отрицательно покачал головой.

– Отец и мать мои умерли. У меня две сестры: одна замужняя, другая, вероятно, скоро выйдет замуж. Братьев целая куча, я младший, – но они никому никогда не помогали. И все давно уже разбрелись по миру искать счастья, каждый сам по себе. Старший умер в Индии. Двое сейчас в Южной Африке, один плавает на китобойном судне, а второй разъезжает с бродячим цирком – он акробат на трапеции. Вот и я такой же. С одиннадцати лет я сам себя содержу, с тех пор как умерла мать. Так что придется мне и тут самому доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать.

– Вам, во-первых, надо бы заняться языком. Вы иногда выражаетесь (она хотела сказать «ужасно», но удержалась) не совсем правильно.

Лоб его покрылся испариной.

– Я знаю, что иногда отпускаю такие словечки, которых вам не понять. Но эти-то я хоть знаю, как выговаривать. Я держу в голове кое-какие слова из книг, но я не знаю, как они произносятся, потому-то и не говорю их.

– Дело тут не только в словах, а в общем строе речи. Можно говорить с вами откровенно? Вы не обидитесь на меня?

– Нет, нет! – воскликнул он, благословляя в душе ее доброту. – Жарьте! Уж лучше мне узнать все это от вас, чем от кого-нибудь другого!

– Так вот. Все, что нужно, вы найдете в грамматике. Я многое отметила в вашем разговоре, от чего вам надо отвыкать. А грамматику я вам сейчас принесу.

Когда Руфь встала, Мартину вспомнилось одно правило из книги об этикете, и он неуклюже поднялся со своего места, но тут же испугался – не подумала бы она, что он собирается уходить.

Руфь принесла грамматику и придвинула свой стул к его стулу, причем Мартин подумал, что, вероятно, нужно было помочь его придвинуть. Она раскрыла книгу, и головы их сблизились. Ему трудно было следить за ее объяснениями – так волновала его эта близость. Но когда она начала объяснять тайны спряжений, он забыл все на свете. Он никогда не слыхал о спряжениях, и это первое проникновение в таинственные законы речи заворожило его. Он ниже пригнулся к книге, и вдруг ее волосы коснулись его щеки.

Мартин Иден только один раз в жизни терял сознание, но тут он подумал, что сейчас это случится снова. Дыхание захватило у него в груди, а сердце забилось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит. Никогда она не казалась ему столь доступной. На одно мгновение через бездну, их разделявшую, был перекинут мост. Но его чувства не стали от этого менее возвышенными. Она не опустилась до него. Это он поднялся за облака и приблизился к ней. Его любовь, как и прежде, была полна религиозного благоговения. Ему почудилось, что он вторгся в святая святых некоего храма, и он осторожно отвел голову, чтобы избежать этого прикосновения, действовавшего на него, как электрический заряд. Но Руфь ничего не заметила.

Глава 8

Много недель прошло, а Мартин Иден все учил грамматику, проглядывал руководства по хорошему тону и пожирал каждую книгу, которая увлекала его воображение. От своего прежнего круга он отошел совершенно. Девушки из «Лотоса» не понимали, что с ним приключилось, и забрасывали Джима вопросами, а многие молодые люди были рады, что он больше не появляется на

состязаниях у Райли. Он сделал еще одну драгоценную находку в сокровищнице библиотеки. Как грамматика открыла ему основы языка, так эта новая книга указала на правила, лежащие в основе поэзии. Он начал изучать метры, формы и законы стихосложения и понял, как создается восхищающая его красота. Одни новейший трактат рассматривал поэзию как изобразительное искусство, причем теория в нем была подкреплена многими ссылками на лучшие литературные образцы. Ни одного романа Мартин не читал с таким увлечением. И его свежий, нетронутый двадцатилетний ум, подстрекаемый жаждой знания, усваивал все с активностью и быстротой, несвойственной рядовым студентам.

Когда Мартин оглядывался на известный ему мир – на мир далеких стран, морей, кораблей, матросов и мужеподобных женщин, – этот мир представлялся ему очень маленьким; и все-таки какими-то своими гранями он соприкасался с большим, вновь открывшимся Мартину миром. Ум его всегда стремился к единству; однако он сначала все же был удивлен, когда установил связь этих двух миров. Он воспарил над старым миром благодаря возвышенным мыслям и чувствам, почерпнутым из книг. Он был теперь уверен, что в том высшем круге, к которому принадлежат Руфь и ее семья, все мужчины и все женщины разделяют этот возвышенный образ мыслей и живут согласно ему. До сих пор он жил в каком-то грязном болоте и теперь хотел очиститься и подняться в высшую сферу. Уже в детстве и юности что-то смутное томило и волновало его, но он никогда не понимал, что ему нужно, пока не встретил Руфи. И теперь его томление сделалось острым и болезненным, он понял ясно и твердо, что искал красоты, ума и любви.

За эти недели он раз шесть встречался с Руфью, и каждый раз свидание с ней вдохновляло его. Она исправляла его язык и произношение, занималась с ним арифметикой. Но их беседы не ограничивались одними учебными занятиями. Он слишком много видел в жизни, его ум был слишком пытлив, чтобы удовлетвориться дробями, кубическими корнями, разбором и спряжениями. Бывали минуты, когда их разговор касался совсем других тем, – они говорили о стихах, которые он только что прочел, о поэте, которого она теперь изучала. И когда она читала ему любимые строчки, он испытывал несказанное блаженство. Никогда он не слыхал такого голоса. От одного звука ее речи расцветала его любовь, каждое слово заставляло его трепетать. В этом голосе были спокойствие и музыкальность – великие, богатые плоды культуры и духовного благородства. Слушая ее, он невольно вспоминал крикливые голоса женщин диких племен и портовых потаскух, неблагозвучный говор фабричных работниц. Тотчас же его воображение начинало работать, он видел целые вереницы этих женщин, и по сравнению с ними ореол чистоты, окружающей Руфь, сверкал еще

более ослепительно. Но он не только любил слушать ее голос, ему бесконечно приятна была мысль, что Руфь понимает читаемое и живо откликается на красоту поэтической мысли. Она много читала ему из «Принцессы», и часто он видел при этом слезы у нее на глазах, – так тонко чувствовала она красоту. В такие минуты ему казалось, что он поднимается до божественного всепроникновения; глядя на нее и слушая ее голос, он словно созерцал самоё жизнь и читал ее сокровеннейшие тайны. И, достигнув этих вершин чувства, он начинал понимать, что это и есть любовь и что любовь – самое великое в мире. И перед его внутренним взором проходили все радости, испытанные им некогда, – опьянения, ласки женщин, игра, задор физической борьбы, – и все это казались невыносимо пошлым и низким по сравнению с чувствами, овладевшими им теперь.

Руфь не отдавала себе отчета в происходившем. У нее не было еще никакого опыта в сердечных делах. Все, что она знала, она почерпнула из книг, где события обыденной жизни всегда претворялась в нечто нереальное и прекрасное; ей не приходило в голову, что этот грубый матрос завладевает ее сердцем, и что в один прекрасный день назревающее в ней чувство разольется по всему ее существу огненными волнами. Она не знала, каково пламя любви на самом деле. Все ее представления были исключительно теоретическими и самое слово «любовь» вызывало в ней образы кроткого сияния звезд, легкой зыби на спокойной поверхности моря, легкой росы на исходе бархатной летней ночи. Любовь представлялась ей как нежная привязанность, служение любимому в прохладной тишине, напоенной ароматом цветов и исполненной благостного покоя. Она и не подозревала о вулканических порывах любви, о ее страшном зное, превращающем сердце в пустыню горячего пепла. Она не знала ничего о силах, сокрытых в мире, сокрытых в ней самой; глубины жизни терялись за дымкой иллюзий. Супружеская привязанность отца и матери была для нее идеалом любовного единения, и она спокойно ждала, где-то в будущем, дня, когда без всяких волнений и потрясений войдет в такое же мирное сосуществование с любимым человеком.

Таким образом, на Мартина Идена она смотрела, как на новинку, как на странное, исключительное существо, и этой новизне приписывала те необыкновенные ощущения, которые он в ней вызывал. Это было естественно. Такие же чувства испытывала она, когда смотрела в зверинце на диких зверей или когда видела бурю и вздрагивала от вспышек молнии. Было что-то космическое в подобного рода явлениях, и было, несомненно, что-то космическое и в нем. Он ей принес дыхание моря, бесконечность земных просторов. Блеск тропического солнца запечатлелся на его лице, а в его крепких

железных мускулах была первобытная жизненная сила. Он весь был в рубцах и шрамах, полученных в том неведомом мире жестоких людей и жестоких деяний, который начинался за пределом ее кругозора. Это был дикарь, еще не прирученный, и ей льстила мысль, что он ей так покорен. Ею руководило желание приручить дикаря – и только. Желание это было бессознательно, и ей не приходило в голову, что ей хочется сделать из него подобие своего отца, который ей казался образцом совершенства. В своем неведении она не могла понять и того, что то космическое чувство, которое он в ней вызывал, есть любовь, та непреодолимая сила, что влечет мужчину и женщину друг к другу через целый мир, заставляет оленей в период течки убивать друг друга и все живое побуждает стремиться к соединению.

Быстрое развитие Мартина чрезвычайно удивляло и занимало ее. Она открывала в его душе такие стороны, о которых не могла и подозревать, и они раскрывались день ото дня, как цветы на благодатной почве. Она читала ему вслух Броунинга и бывала иногда поражена его неожиданными истолкованиями неясных мест. Она не понимала, что его истолкования, основанные на знании жизни и людей, были часто гораздо правильнее, чем ее. Его рассуждения казались ей наивными, хотя иногда ее увлекал смелый полет его мысли, уносивший его в такие надзвездные дали, куда она не могла следовать за ним и только трепетала от столкновения с какою-то непонятной силой. Потом она играла ему, и музыка проникала в глубины его существа, которых ей было не измерить. Он весь раскрывался навстречу звукам музыки, как цветок раскрывается навстречу солнечным лучам; он очень скоро позабыл дробные ритмы и резкие созвучия музыки джазов и научился ценить излюбленный Руфью классический репертуар. Но все же он испытывал какое-то демократическое пристрастие к Вагнеру, и увертюра к «Тангейзеру», особенно после объяснений Руфи, ему нравилась больше всего. Увертюра эта как бы являлась прообразом его жизни. Его прошлое было для него олицетворено в теме Венерина грота, а Руфь он связывал с хором пилигримов; и казалось, вагнеровские мелодии уносили его в призрачное царство духа, где добро и зло ведут извечную борьбу.

Иногда он задавал вопросы, и ей вдруг начинало казаться, что она сама неправильно понимает музыку. Зато, когда она пела, он ни о чем не спрашивал. В пении он слушал только ее самое и сидел неподвижно. И снова ему вспоминались при этом визгливые песенки фабричных девушек и хриплые завывания пьяных мегер в портовых кабачках. Ей нравилось играть и петь ему. В сущности она в первый раз имела дело с живой человеческой душой, и такой податливой и гибкой, что ей доставляло наслаждение формировать ее; Руфи казалось, что она лепит душу Мартина, и она делала это с самыми лучшими

намерениями. А кроме всего, ей доставляло удовольствие находиться в его обществе. Он больше не пугал ее. Сначала он действительно вызвал смутный страх в ее потревоженной душе, но теперь этот страх улегся. Она, сама того не подозревая, уже чувствовала какие-то права на него. С другой стороны, он оказывал на нее живительное действие. Она очень много занималась в университете, и ей, очевидно, было полезно иногда оторваться от книжной пыли и вдохнуть свежую струю морского ветра, которым он был пропитан. Сила! Да, ей нужна была сила, и он великодушно делился с него. Быть с ним в одной комнате, встречать его в дверях – уже значило дышать полной грудью. И когда он уходил, она бралась за свои книги с удвоенной энергией.

Руфь прекрасно знала Броунинга, но она никогда не думала, что игра с человеческой душой так опасна. Чем больше она интересовалась Мартином, тем сильнее хотелось ей переделать его жизнь.

– Вот возьмите мистера Батлера, – сказала она однажды, когда и с грамматикой, и с арифметикой, и с поэзией было покончено, – ему сначала ни в чем не было удачи. Его отец был банковским кассиром, но, прохворав несколько лет, умер от чахотки в Аризоне, так что мистер Батлер – его зовут Чарльз Батлер – остался совершенно один. Его отец по происхождению австралиец, и у него нет в Калифорнии родственников. Он поступил в типографию, – он мне несколько раз об этом рассказывал, – и на первых порах зарабатывал три доллара в неделю. А теперь он зарабатывает до тридцати тысяч в год. Как он достиг этого? Он был честен, трудолюбив и бережлив. Он отказывал себе в удовольствиях, которые обычно так любят молодые люди. Он положил себе за правило откладывать сколько-нибудь каждую неделю, ценой любых лишений. Конечно, он стал скоро зарабатывать больше трех долларов, и по мере того как увеличивались его доходы, увеличивались и сбережения. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу. Он постоянно думал о будущем. Потом он стал посещать вечерние курсы. Семнадцати лет он уже был наборщиком и получал хорошее жалованье, но он был честолюбив. Он хотел сделать карьеру, а не просто иметь обеспеченный кусок хлеба, и готов был на всякие жертвы ради будущего. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего отца – подумайте! – рассыльным на четыре доллара в неделю. Но он научился быть экономным и даже из этих четырех долларов ухитрялся откладывать.

Руфь остановилась на мгновение, чтобы перевести дыхание и посмотреть, как Мартин воспринимает рассказ. Его лицо оживилось интересом к судьбе мистера Батлера, но брови были слегка нахмурены.

– Верно, туговато ему приходилось, – сказал он. – Четыре доллара в неделю! С этого не разгуляешься. Я вот плачу пять долларов в неделю за квартиру и стол и, ей-богу, ничего хорошего не имею. Он, вероятно, жил как собака. Питался, должно быть…

– Он сам себе готовил на керосинке, – прервала она его.

– Питался, должно быть, так же скверно, как матросы на рыболовных судах, а это уж значит – хуже нельзя.

– Но подумайте, чего он достиг теперь! – вскричала она с воодушевлением. – Ведь он с лихвой может вознаградить себя за все лишения юности!

Мартин посмотрел на нее сурово.

– А вы знаете, что я вам скажу, – возразил он. – Едва ли вашему мистеру Батлеру так уже весело жить теперь. Он так плохо питался все прошлые годы, что желудок у него, надо думать, ни к чёрту не годится.

Она отвела глаза, не выдержав его взгляда.

– Пари держу, что у него катар.

– Да, – согласилась она, – но…

– И наверное, – продолжал Мартин, – он теперь сердитый и скучный, как старый филин, и никакой радости нет ему от его тридцати тысяч. И наверное, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или не так?

Она кивнула утвердительно и хотела объяснить;

– Но ему это и не нужно. Он по натуре угрюм и серьезен. Он всегда был таким.

– Еще бы ему не быть! – воскликнул Мартин. – На три да на четыре доллара в неделю! Молодой парень сам стряпает, чтобы отложить деньги! Днем работает, ночью учится, только и знает, что трудится, и никогда не поразвлечется, никогда не погуляет, даже и не знает, должно быть, как это делается. Хо!

Слишком поздно пришли эти его тридцать тысяч.

Услужливое воображение тотчас же нарисовало ему во всех подробностях жизнь этого бережливого юноши и ту узенькую духовную дорожку, которая впоследствии привела его к тридцатитысячному годовому доходу. Все мысли и поступки Чарльза Батлера представились ему словно в телескопе.

– Вы знаете, – прибавил он, – мне жаль его, этого мистера Батлера. Он тогда был слишком молод и не понимал, что сам у себя украл всю жизнь ради этих тридцати тысяч, от которых ему теперь никакой радости. Сейчас уже он на эти тридцать тысяч не купит того, что мог бы тогда купить за десять центов, – ну, там леденцов каких-нибудь, когда был мальчишкой, или орехов, или билет на галерку!

Подобный подход всегда несколько ошеломлял Руфь. Он не только был совершенно новым для нее и не соответствовал ее взглядам, но она смутно угадывала здесь долю правды, которая грозила опрокинуть и в корне переделать все ее представления о мире. Если бы ей было не двадцать четыре года, а четырнадцать, она, может быть, очень скоро изменила бы свои взгляды под влиянием Мартина. Но ей было двадцать четыре, и вдобавок по натуре она была консервативна, а полученное воспитание уже приспособило ее к образу жизни и мыслей той среды, в которой она родилась и развивалась. Правда, странные суждения Мартина иногда смущали ее в момент разговора, но она приписывала это оригинальности его личности и судьбы и старалась поскорее забыть их. И все-таки, хотя она и не соглашалась с ним, сила его убеждения, блеск глаз и серьезность лица, когда он говорил, всегда волновали ее и влекли к нему. Ей и в голову не приходило, что этот человек, пришедший из-за пределов ее кругозора, высказывал очень часто мысли, слишком глубокие для нее, и слишком возвышался над привычным для нее уровнем. Границы ее кругозора были для нее единственными правильными границами; но ограниченные умы замечают ограниченность только в других. Таким образом, она считала свой кругозор очень широким и этим объясняла возникавшие между ней и Мартином идейные коллизии и мечтала научить его смотреть на вещи ее глазами, и расширить его горизонт до пределов своего горизонта.

– Но я еще не докончила своего рассказа, – сказала она. – Он работал, по словам отца, с редкостным рвением и усердием. Мистер Батлер всегда отличался необычайной работоспособностью. Он никогда не опаздывал на службу, наоборот, очень часто являлся раньше, чем было нужно. И все-таки он ухитрялся

экономить время. Каждый свободный миг он посвящал учению. Он изучал бухгалтерию, научился писать на машинке, брал уроки стенографии и, чтобы платить за них, диктовал по ночам одному судебному репортеру, нуждавшемуся в практике. Он скоро из рассыльного сделался клерком и был в своем роде незаменим. Отец мой вполне оценил его и увидал, что это человек с большим будущим. По совету моего отца, он поступил в юридическую школу, сделался адвокатом и вернулся в контору уже в качестве младшего компаньона моего отца. Это выдающийся человек. Он уже несколько раз отказывался от места в сенате Соединенных Штатов и мог бы стать, если бы захотел, членом верховного суда. Такая жизнь должна всех нас окрылять. Она доказывает, что человек с упорством и с волей может всего добиться в жизни!

– Да, он выдающийся человек, – согласился Мартин совершенно искренно.

И все же что-то в этом рассказе плохо вязалось с его понятиями о жизни и о красоте. Он никак не мог найти достаточного обоснования для всех тех лишений и нужд, которые претерпел мистер Батлер. Если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за влечения к прекрасному – Мартин бы его понял. Юноша, одержимый любовью, мог умереть за поцелуй, но не за тридцать тысяч долларов в год! Было что-то жалкое в карьере мистера Батлера, и она не очень вдохновляла его. Тридцать тысяч долларов – это, конечно, не плохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожали их ценность.

Многие из этих соображений Мартин высказал Руфи, чем лишний раз убедил ее, что необходимо заняться его перевоспитанием. Ей была свойственна та характерная узость мысли, которая заставляет людей известного круга думать, что только их раса, религия и политические убеждения хороши и правильны и что все остальные человеческие существа, рассеянные по миру, стоят гораздо ниже их. Это была та же узость мысли, которая заставляла древнего еврея благодарить бога за то, что он не родился женщиной, а теперь заставляет миссионеров путешествовать по всему земному шару, чтобы навязать всем своего бога. И она же внушала Руфи желание взять этого человека, выросшего в совершенно иных условиях жизни, и перекроить его по образцу людей ее круга.

Глава 9

Мартин Иден вернулся из плавания и поспешил в Калифорнию, гонимый любовным томлением. Восемь месяцев назад, истратив свои деньги, он нанялся на судно, отправлявшееся на поиски клада, зарытого где-то на Соломоновых островах. После долгих и безуспешных поисков предприятие было признано неудавшимся. С матросами рассчитались в Австралии, и Мартин немедленно нанялся на судно, идущее в Сан-Франциско. За эти восемь месяцев он не только заработал достаточно денег, чтобы подольше продержаться на суше, но, кроме того, сумел найти время продолжать свои занятия.

У него был восприимчивый ум, и к тому же ему помогали природное упорство и любовь к Руфи. Изучив грамматику, он несколько раз возвращался к ней и, наконец, овладел ею окончательно. Он теперь замечал неправильности в разговорах матросов и мысленно исправлял их ошибки и грубость речи. С радостью он замечал, что его ухо стало очень чувствительно и что у него развилось особое грамматическое чутье. Всякая неправильность речи звучала для него как диссонанс, хотя с непривычки бывало еще, что и у него самого срывались с языка подобные ошибки. Видимо, нужно было время для того, чтобы освободиться от них навсегда.

Покончив с грамматикой, он принялся за словарь и взял за правило каждый день прибавлять двадцать слов к своему лексикону. Это была нелегкая задача, и, стоя на вахте или у рулевого колеса, он повторял выученные слова и старался произносить их как следует. Он вспоминал все наставления Руфи и, к своему изумлению, скоро обнаружил, что начал говорить по-английски чище и правильнее самих офицеров и тех сидевших в каютах джентльменов, которые финансировали всю авантюру.

У капитана, норвежца с рыбьими глазами, нашлось случайно полное собрание сочинений Шекспира, в которое он, конечно, никогда не заглядывал, и Мартин получил разрешение пользоваться драгоценными книгами за то, что взялся стирать белье их владельцу. Отдельные места трагедий производили на него такое впечатление, что он запоминал их без всякого труда, и некоторое время весь мир представлялся ему в образах и формах елизаветинского театра, а мысли его сами собой укладывались в белые стихи. Это послужило полезной тренировкой для его слуха и научило его ценить благородство английского языка, хотя в то же время внесло в его речь много устаревших и редких оборотов.

Мартин хорошо провел эти восемь месяцев. Он научился правильно говорить и думать, и он лучше узнал самого себя. С одной стороны, он смиренно сознавал свое невежество, с другой – чувствовал в себе великие силы Он видел огромную разницу между собой и своими товарищами, но не мог понять, что разница эта лежит не в достигнутом, а в возможном. То, что он делал, могли делать и они, но внутри него происходила какая-то работа, говорившая ему, что он способен на большее. Он был восхищен красотой мира, и ему хотелось, чтобы Руфь могла любоваться этой красотой вместе с ним. Он решил описать ей величие Тихого океана. Эта мысль пробудила в нем творческий импульс, и ему захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И в ослепительном сиянии возникла великая идея: он будет писать. Он будет одним из тех людей, глазами которых мир видит, ушами которых мир слышит, он будет из тех сердец, которыми мир чувствует. Он будет писать все, поэзию и прозу, романы, очерки и пьесы, как Шекспир. Это настоящая карьера, и это – путь к сердцу Руфи. Ведь писатели – гиганты мира, куда до них какому-нибудь мистеру Батлеру, который получает тридцать тысяч в год и мог бы стать членом верховного суда, если бы захотел.

Едва возникнув, эта идея всецело овладела им, и обратное его путешествие в Сан-Франциско было подобно сну. Он был опьянен сознанием своей силы и ощущением, что может все. В спокойном уединении Великого океана вещи приобрели перспективу. Впервые он ясно увидел и Руфь, и тот круг, в котором она жила. Эти видения облеклись в его уме в конкретную форму, он мог как бы брать их руками, повертывать во все стороны и рассматривать. Много было непонятного и туманного в этом мире, но он глядел на целое, а не на детали, и в то же время видел способ овладеть всем этим. Писать! Эта мысль жгла его, как огонь. Он начнет писать немедленно по возвращении. Прежде всего он опишет экспедицию, ходившую на поиски клада. Он пошлет рассказ в какой-нибудь журнал в Сан-Франциско, ничего не сказав об этом Руфи, и она будет удивлена и обрадована, увидев его имя в печати. Он может одновременно и писать и учиться. Ведь в сутках двадцать четыре часа. Он непобедим, потому что умеет работать, и все твердыни рушатся перед ним. Ему уже не нужно будет плавать по морю простым матросом, в воображении он вдруг увидел собственную яхту. Есть же писатели, которые имеют собственные яхты! Конечно, останавливал он себя, успех приходит не сразу, хорошо если на первых порах он хотя бы заработает своим писанием достаточно для того, чтоб продолжать учение. А потом, через некоторое время, – очень неопределенное время, – когда он выучится и подготовится, он начнет писать великие вещи, и его имя будет у всех на устах. Но важнее этого, бесконечно важнее всего самого важного, – это что тогда он станет, наконец, достойным Руфи. Слава хороша и сама по себе, но не

ради нее, а ради Руфи возникли в нем эти мечты. Он был не искатель славы, а только юноша, одержимый любовью.

Явившись в Окленд с набитым карманом, Мартин опять водворился в своей каморке в доме Бернарда Хиггинботама и уселся за работу. Он не сообщил Руфи о своем возвращении. Он решил, что пойдет к ней, лишь окончив свой очерк об искателях сокровищ. Это намерение он осуществлял без труда, потому что был всецело охвачен творческой лихорадкой. Кроме того, каждая написанная им фраза приближала ее к нему. Он не знал, какой длины должен быть рассказ, но сосчитал количество слов в очерке, занимавшем два столбца в воскресном приложении к «Обозревателю Сан-Франциско», и решил этим руководствоваться. В три дня, работая без передышки, закончил Мартин свой очерк, потом тщательно переписал его крупными буквами, чтоб легче было читать, – и тут вдруг узнал из взятого в библиотеке учебника словесности, что существуют абзацы и кавычки. А он и не подумал об этом! Мартин тотчас снова сел за переписку очерка, все время справляясь с учебником, и в один день приобрел столько сведений о том, как писать сочинение, сколько обыкновенный школьник не приобретает и за год. Переписав вторично очерк и осторожно свернув его в трубку, он вдруг прочел в одной газете правила для начинающих авторов, гласившие, что рукопись нельзя свертывать в трубку и что писать надо на одной стороне листа. Он нарушил оба пункта закона. Но он прочел еще, что в лучших журналах платят не менее десяти долларов за столбец. Переписывая в третий раз, Мартин утешался тем, что без конца помножал десять столбцов на десять долларов. Результат получался всегда один и тот же – сто долларов, – и он решил, что это куда выгоднее матросской службы. Если бы он дважды не дал маху, рассказ за три дня был бы готов. Сто долларов в три дня! Ему бы пришлось три месяца скитаться по морям, чтобы заработать подобную сумму. Надо быть дураком, чтобы плавать на судах, если можешь писать. Впрочем, деньги сами по себе не представляли для Мартина особенной ценности. Их значение было только в том, что они могли дать ему досуг, возможность купить приличный костюм, а все это вместе взятое должно было приблизить его к стройной бледной девушке, которая перевернула всю его жизнь и наполнила ее вдохновением.

Мартин вложил рукопись в большой конверт, запечатал и адресовал редактору «Обозревателя Сан-Франциско». Он представлял себе, что все присылаемое в редакцию немедленно печатается, и так как послал очерк в пятницу, то ожидал появления в воскресенье. Приятно будет таким способом известить Руфь о своем возвращении. В это же воскресенье он и пойдет к ней. Между тем он уже носился с новой идеей, которая казалась ему необыкновенно удачной,

правильной, здравой и непритязательной: написать приключенческий рассказ для мальчиков и послать его в «Спутник юношества». Он пошел в читальню и просмотрел несколько комплектов «Спутник юношества». Выяснилось, что большие рассказы и повести печатаются в еженедельнике частями, примерно по три тысячи слов. Каждая повесть тянулась в пяти номерах, а некоторые даже в семи, и он решил исходить из этого расчета.

Мартин однажды плавал в Северном Ледовитом океане на китобойном судне; плавание было рассчитано на три года, но закончилось через полгода, вследствие кораблекрушения. Хотя он и обладал пылким воображением, но фантазию его всегда питала любовь к правде, и ему хотелось писать лишь о вещах ему известных. Он отлично знал китобойный промысел и, основываясь на фактическом материале, решил повествовать о вымышленных приключениях двух мальчиков, которые должны были стать его героями. Это было нетрудно, и в субботу вечером он уже написал первую часть в три тысячи слов, чем доставил великое удовольствие Джиму и вызвал со стороны мистера Хиггинботама целый ряд насмешек над «писакой», объявившимся в их семье.

Мартин молчал и только с наслаждением представлял, как удивится зять, когда, развернув воскресный номер «Обозревателя», прочтет очерк об искателях сокровищ. В воскресенье он рано утром был уже на улице, ожидая появления газеты.

Просмотрев номер внимательно несколько раз, он сложил его и положил на место, радуясь, что никому ничего не сказал о свой попытке. Потом, поразмыслив, решил, что ошибся относительно быстроты, с которой рассказы появляются в печати. К тому же в его очерке не было ничего злободневного, и возможно, что редактор решил предварительно написать ему свои соображения.

После завтрака он снова занялся повестью. Слова так и текли из-под его пера, хотя он часто прерывал работу, чтобы справиться ей словарем или учебником словесности. Иногда во время таких пауз он читал и перечитывал написанную главу, утешая себя тем, что, отвлекаясь от великого дела творчества, он зато усваивает в это время правила сочинения и учится выражать и излагать свои мысли. Он писал до темноты, затем шел в читальню и рылся в еженедельных и ежемесячных журналах до десяти часов вечера, то есть до самого закрытия. Такова была его программа на эту неделю. Каждый день он писал три тысячи слов и каждый вечер шел в читальню, листал журналы, стараясь уяснить себе, какие стихи, повести, рассказы нравятся издателям. Одно было несомненно: он

мог написать все, что написали эти бесчисленные писатели, и более того: дайте срок, и он напишет много такого, чего им не написать. Ему было приятно прочитать в «Книжном бюллетене» статью о гонорарах, где было сказано, что Киплинг получает доллар за слово, а для начинающих писателей – что особенно заинтересовало его – минимальная ставка в первоклассных журналах два цента «Спутник юношества» был, несомненно, первоклассным журналом, и, таким образом, за каждые три тысячи слов, которые он писал в день, он должен был получить по шестьдесят долларов – заработок за два месяца плавания.

В пятницу вечером он закончил свою повесть. В ней было ровно двадцать одна тысяча слов. По два цента за слово – и то это уже даст ему четыреста двадцать долларов. Недурная плата за недельную работу. У него еще никогда в жизни не было столько денег сразу. Он даже не понимал, на что можно истратить так много. Ведь это же золотое дно! Он может черпать оттуда без конца. Он решил приодеться, выписать кучу газет и журналов, купить все необходимые справочники, за которыми теперь приходилось бегать в библиотеку. И все же от четырехсот двадцати долларов оставалась еще довольно крупная сумма, и он ломал голову, как использовать ее, пока, наконец, не решил нанять служанку для Гертруды и купить велосипед Мэриен.

Мартин отослал объемистую рукопись в «Спутник юношества» и в субботу вечером, обдумав план очерка о ловле жемчуга, отправился к Руфи. Он предварительно позвонил ей по телефону, и она сама отворила ему дверь. Знакомое, исходящее от него чувство силы и здоровья, опять охватило ее всю, с головы до ног. Казалось, эта сила наполняла все ее тело, разливалась по жилам и заставляла трепетать от волнения. Он вспыхнул, коснувшись ее руки и взглянув в ее голубые глаза, но она не заметила этого под темным загаром, покрывшим его лицо за восемь месяцев пребывания на солнце. Но полосу, натертую воротничком на шее, не скрыл и загар, и, заметив ее, Руфь едва удержалась от улыбки. Впрочем, у нее прошла охота улыбаться, когда она взглянула на его костюм. Брюки на этот раз отлично сидели, – это был его первый костюм, сшитый на заказ, и Мартин казался в нем куда стройнее и тоньше. Вдобавок он заменил свою кепку мягкой шляпой, которую она тут же велела ему примерить и похвалила его внешность. Руфь была счастлива, как никогда. Эта перемена в нем была делом ее рук, и, гордясь этой переменой, она уже мечтала о том, как будет и дальше направлять его.

Но в особенности одно обстоятельство, и притом самое важное, радовало ее: перемена в его языке. Он теперь говорил не только правильнее, но гораздо

свободнее, и его лексикон значительно обогатился. Правда, в моменты увлечения он забывался и опять начинал употреблять жаргонные словечки и комкать окончания, иногда он запинался, готовясь произнести слово, которое только недавно выучил. Но речь его улучшилась не только с внешней стороны. Она приобрела еще большую яркость и остроту, чрезвычайно обрадовавшую Руфь. Это сказывался его природный юмор, за который его всегда любили товарищи, но который он раньше не мог проявить при ней за недостатком подходящих слов. Теперь он понемногу осваивался и в ее обществе уже не чувствовал себя таким чужеродным элементом. Но все же он был преувеличенно осторожен и, предоставив Руфи вести оживленную беседу, старался, правда, не отставать от нее, но ни разу не брал на себя инициативу.

Он рассказал ей о своем сочинительстве, изложил план того, как он будет писать для заработка и, таким образом, получит возможность учиться. Но его ждало разочарование: Руфь отнеслась к этому плану скептически.

– Видите ли, – откровенно сказала она, – литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не специалист, конечно, я просто высказываю общеизвестные истины. Ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно года три, а то, пожалуй, и все пять. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому очень многие хотят стать писателями и пробуют свои силы.

– А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности? – спросил Мартин, радуясь втайне, что так хорошо выразился; и тотчас же заработало его пылкое воображение, и он увидел как бы со стороны картину этого разговора в гостиной, а рядом сотни картин его прежней жизни, грубых и отвратительных.

Но все эти пестрые видения пронеслись перед ним в один миг, не прерывая течения его мыслей, не замедляя темпа разговора. На экране своей фантазии видел Мартин эту прелестную, милую девушку и себя самого, разговаривающих на хорошем английском языке в уютной комнате, среди книг и картин, – и все это было озарено ровным, ясным светом. А кругом, по краям экрана, возникали и исчезали совсем иные сцены, но он, как зритель, мог смотреть на них по своему выбору. Он созерцал все это сквозь пелену тумана, которую вдруг пронизывали острия яркого красноватого света. Он видел ковбоев, пивших в кабаке огненное виски, кругом раздавалась грубая речь, пересыпанная непристойностями, а сам он стоял среди самых отъявленных головорезов и тоже пил, бранясь и крича, или сидел с ними за столом под вонючей керосиновой лампой, сдавая карты и

звеня фишками. Потом видел себя обнаженным до пояса, со сжатыми кулаками, перед началом знаменитого боя с рыжим ливерпульцем на палубе «Сасквеганны»; потом он увидел окровавленную палубу «Джона Роджерса» в то серое утро, когда вспыхнул мятеж, увидел старшего помощника, корчившегося в предсмертных судорогах, револьвер в руках капитана, извергавший огонь и дым, толпу матросов вокруг, с искаженными от ярости лицами, – и, снова устремив взор на центральную сцену, спокойную и тихую, озаренную ярким светом, увидел Руфь, беседующую с ним среди книг и картин; увидел большой рояль, на котором она позже будет играть ему; услышал свою собственную, правильно построенную и произнесенную фразу:

«А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности?»

– Даже если у человека есть способности к ремеслу кузнеца, – возразила она со смехом, – разве этого достаточно? Я никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь стал кузнецом, не побывав сначала в обучении.

– Что же вы мне посоветуете? – спросил он. – Но только помните, что я действительно чувствую, что могу писать. Это трудно объяснить, но это так.

– Вам надо учиться, – последовал ответ, – независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы карьеру вы ни избрали, и оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу.

– Да… – начал он, но она прервала его:

– Вы можете и тогда продолжать писать.

– Поневоле буду продолжать, – ответил он грубо.

– Почему же?

Она посмотрела на него почти с неудовольствием: ей не нравилось упорство, с которым он стоял на своем.

– Потому что без этого не будет и учения. Ведь нужно же мне есть, покупать книги, одеваться.

– Я все забываю об этом, – сказала она со смехом. – Почему вы не родились с готовым доходом!

– Я предпочитаю здоровье и воображение, – отвечал он – доходы придут. Я бы много делов наделал ради… – он чуть не сказал «ради вас», – ради… другого чего-нибудь.

– Не говорите «делов»! – воскликнула она с шутливым ужасом. – Это ужасно вульгарно.

Мартин смутился.

– Вы правы, – сказал он, – поправляйте меня, пожалуйста, всегда.

– Я… я с удовольствием, – отвечала Руфь неуверенно. – В вас очень много хорошего, и мне бы хотелось, чтобы все это стало еще лучше.

Он тотчас опять превратился в глину в ее руках и страстно желал, чтобы она лепила из него, что ей угодно, а она так же страстно желала вылепить из него мужчину по тому образцу, который ей представлялся идеалом. Когда она заявила ему, что приемные экзамены в среднюю школу начнутся в понедельник, он сказал, что будет держать их.

После этого она уселась за рояль и долго играла и пела ему, а он смотрел на нее жадными глазами, восторгаясь ею и удивляясь, почему вокруг нее не толпятся сотни обожателей, внимая ей и томясь по ней так же, как внимал и томился он.

Глава 10

В этот вечер Мартин остался обедать у Морзов и, к великому удовольствию Руфи, произвел очень благоприятное впечатление на ее отца. Разговор шел о профессии моряка – предмете, который Мартин знал как свои пять пальцев;

и мистер Морз отозвался о нем после как об очень сообразительном и здравомыслящем молодом человеке. Мартин старался избегать грубых слов и неправильных выражений и поэтому говорил медленно и лучше формулировал свои мысли. Он держался за обедом гораздо непринужденнее, чем в первый раз, почти год тому назад, но сохранил скромность и некоторую застенчивость, что очень понравилось миссис Морз, которая была в то же время приятно поражена происшедшей в нем переменой.

– Это первый мужчина, который произвел впечатление на Руфь, – сказала она своему мужу. – Она всегда так равнодушно относилась к мужчинам, что это начало даже тревожить меня.

Мистер Морз взглянул на нее с удивлением.

– Ты хочешь, чтобы этот молодой матрос пробудил в ней женщину? – спросил он.

– Я не хочу, чтобы она умерла старой девой. Если Иден может заставить ее заинтересоваться мужчинами вообще, то это уже очень ценно.

– Очень ценно! – повторил мистер Морз. – Гм! Но предположим, – а иногда, моя милая, приходится заниматься предположениями, – предположим, что он возбудит ее интерес не вообще, а в частности?

– Это невозможно, – смеясь сказала миссис Морз. – Она на три года старше его, и потом это просто невозможно! Ничего плохого не будет. Положитесь на меня.

Таким образом, роль Мартина Идена была определена вполне точно. Между тем сам он, увлеченный Артуром и Норманом, обдумывал одну довольно экстравагантную затею. Речь шла о воскресной загородной прогулке на велосипедах которая, конечно, едва ли заинтересовала бы Мартина, если бы он не узнал, что Руфь тоже собирается ехать. Он никогда не ездил на велосипеде, но раз Руфь ездит, для него не оставалось уже сомнений в том, что и он должен научиться. Поэтому по дороге домой он зашел в магазин и купил за сорок долларов велосипед. Эту сумму он и в месяц не мог бы заработать самым тяжелым трудом, и такой расход был весьма чувствителен для его кармана. Но, прибавив к ста долларам, которые он должен был получить с «Обозревателя», те четыреста двадцать, которые ему заплатит «Спутник юношества», он даже обрадовался, что нашел разумное применение хотя бы для части всех этих

денег. Не смутило его и то обстоятельство, что при первой попытке научиться ездить на велосипеде он порвал брюки и пиджак. Он тут же позвонил портному по телефону из лавки Хиггинботама и заказал себе новый костюм. Потом он втащил велосипед по узенькой наружной лестнице к себе в каморку, и когда отодвинул кровать от стены, то в комнате осталось место только для него и для велосипеда.

Воскресенье он решил посвятить подготовке к приемным экзаменам, но рассказ о ловле жемчуга так увлек его, что он провел весь день в лихорадке творчества, поглощенный красотой картин, которые горели в его мозгу. В это воскресенье «Обозреватель» опять не напечатал его рассказ об искателях сокровищ, но это нисколько его не смутило. Он слишком высоко взлетел на крыльях своего воображения и даже не слышал, как его два раза звали обедать. Он так и ушел, не попробовав изысканного обеда, которым мистер Хиггинботам имел обыкновение отмечать воскресные дни. Для мистера Хиггинботама такие обеды были вещественным доказательством его жизненного успеха, и он всегда сопровождал их рассуждениями о мудрости американского уклада жизни и тех богатых возможностях, которые этот уклад предоставляет людям например, дает возможность возвыситься, – он это особенно подчеркивал, – от приказчика овощной лавки до хозяина магазина.

В понедельник утром Мартин Иден печально поглядел на свой неоконченный очерк о ловле жемчуга и отправился в Оклендскую школу. Когда он несколько дней спустя явился, чтобы узнать результаты, ему сообщили, что он провалился по всем предметам, за исключением грамматики.

– Ваши познания по грамматике превосходны, – сообщил ему профессор Хилтон, глядя на него сквозь толстые очки, – но по другим предметам вы ничего не знаете, положительно ничего не знаете, а ваши ответы по истории Соединенных Штатов чудовищны, не придумаешь другого слова – просто чудовищны. Я бы вам посоветовал…

Профессор Хилтон умолк и посмотрел на него неприязненно и равнодушно, как на одну из своих пробирок. Он был профессором физики, имел большую семью, получал маленькое жалованье и обладал громадным запасом знаний, затверженных так, как затверживает слова попугай.

– Да, сэр? – скромно сказал Мартин, жалея, что вместо профессора Хилтона с ним не беседует библиотекарь из справочного отдела.

– Я бы вам посоветовал еще года два поучиться в начальной школе. Всего хорошего!

Мартина не очень тронула эта неудача, но он был поражен, увидав, как огорчилась Руфь, когда он сообщил ей мнение профессора Хилтона. Огорчение Руфи было так очевидно, что и он пожалел о своем провале – не из-за себя, а из-за нее.

– Вот видите, – сказала она, – я была права. Вы знаете гораздо больше иных студентов, а вот экзамена выдержать не можете. Это потому, что вы все время учились урывками и не систематически. Вам нужно учиться по определенной системе, а для этого нужны хорошие учителя. Знания должны быть основательными. Профессор Хилтон прав, и на вашем месте я бы пошла в вечернюю начальную школу. Года в полтора вы пройдете курс и сэкономите шесть месяцев. Кроме того, днем у вас будет время для писания или для другой работы, если вам не удастся зарабатывать деньги своим пером.

«Но если днем я буду работать, а по вечерам ходить в школу, то когда же я буду видеться с вами?» – была первая мысль Мартина, которую он, впрочем, побоялся высказать. Вместо этого он сказал:

– Уж очень это для меня детское занятие – ходить в вечернюю школу. Я бы, конечно, на это не посмотрел, если бы знал, что дело стоит того. Но, по-моему, не стоит! Я сам могу изучить все гораздо быстрее, чем со школьными учителями. Это было бы пустой тратой времени (он подумал о ней, о своем желании добиться ее), а я не могу тратить время! У меня его нет!

– Но ведь вам так много нужно сделать.

Она ласково посмотрела на него. И Мартин мысленно назвал себя грубой скотиной за то, что решился противоречить ей.

– Для физики и химии нужны лаборатории, – сказала она. – С алгеброй и геометрией вам никогда не справиться самостоятельно. Вам необходим руководитель, опытные педагоги-специалисты.

Он молчал с минуту, обдумывая тщательно, как бы получше ответить ей.

– Не думайте, что я хвастаюсь, – сказал он, – дело совсем не в этом. Но у меня есть чувство, что я могу легко всему научиться. Я сам могу всему научиться. Меня тянет к учению, как утку к воде. Вы сами видели, как я одолел грамматику. И я изучил еще много других вещей, вы себе представить не можете, как много… А ведь я только начал учиться. Мне еще не хватает… – он запнулся на мгновение и потом твердо выговорил: – инерции. Я ведь только начинаю становиться на линию.

– Что значит становиться на линию? – прервала она его.

– Ну, разбираться, что к чему, – проговорил он.

– Эта фраза ничего не означает, – опять сказала Руфь.

Он решил тогда выразиться иначе:

– Я только теперь начинаю в себе понимать направление.

Она из жалости промолчала на этот раз, и он продолжал:

– Наука представляется мне штурманской рубкой, где хранятся морские карты. Когда я прихожу в библиотеку, я об этом всегда думаю. Дело учителя познакомить ученика со всеми картами по порядку. Вот и все. Он – вроде проводника. Он ничего не может выдумать из головы. Он ничего нового не создает. На картах все есть, и он только должен показать новичку, где что лежит, чтобы тот не сбился с пути. А я не собьюсь. Я умею распознавать местность. И обычно соображаю чего делать… Опять не так что-нибудь?

– Не «чего делать», а «что делать», – сказала Руфь.

– Верно, что делать, – повторил он с благодарностью. – О чем это я? Да, о морских картах. Ну, так вот: иным людя?м…

– Лю?дям, – поправила она опять.

– Иным лю?дям нужны проводники. Это так. А мне вот кажется, что я могу обойтись и без них. Я уже довольно повертелся возле этих карт и знаю, которые мне нужны, и какие берега мне надо исследовать, я тоже знаю. И я сам себе гораздо скорее выберу маршрут. Скорость флота меряется всегда по скорости самого тихоходного судна. Ну, вот то же самое и со школой. Учителя должны равняться по отстающим ученикам, а я один могу идти быстрее.

«Но я бы желал идти не один, а с вами», – хотел он прибавить. Перед ним возникла величественная картина мира, безграничные, озаренные солнцем пространства и звездные пути, по которым он летит рука об руку с нею, и ее бледнозолотые волосы, развеваясь, касаются его щеки. И тотчас же он почувствовал жалкое бессилие своей речи. Боже правый! Если бы он мог рассказать ей обо всем так, чтобы и она увидела то, что видел он! Его мучило страстное желание, мучительное и непреодолимое, нарисовать ей те видения, которые возникли так неожиданно в зеркале его мысли. И вдруг он понял! Так вот ключ к тайне! Ведь именно это и делают великие мастера – поэты и писатели! В этом секрет их величия. Они умеют передать словами все то, что видят, думают и чувствуют. Собака, дремлющая на солнце, часто повизгивает и лает во сне, но она не может объяснить, что заставляло ее визжать и лаять. Вот и он не лучше собаки, уснувшей на солнцепеке; он тоже видит чудесные сказочные сны, но бессилен передать их Руфи. Но теперь довольно спать. Он будет учиться, будет работать до тех пор, пока у него не откроются глаза и не развяжется язык, пока он не сможет поделиться с ней сказочным сокровищем своих видений. Есть же люди, которые владеют тайной выражения мыслей, умеют делать слова своими послушными рабами, сочетать их так, что возникает нечто новое, и это новое больше, чем простая сумма отдельных значений. Он был глубоко потрясен мыслью, что проник на мгновение в тайну, давно его мучившую, и опять перед ним засияли солнечные и звездные пространства. Наконец он пришел в себя, пораженный наступившей тишиной, и увидел, что Руфь смотрит на него с веселой улыбкой.

– Я только что грезил наяву, – сказал Мартин, и при этих словах его сердце сильно забилось.

Как нашел он такие слова? Они правильно объяснили ту паузу в беседе, которую вызвали его видения. Это было чудо! Никогда он так прекрасно не выражал прекрасных мыслей. Но ведь он никогда и не пробовал. Ну, конечно. Теперь все ясно. Он не пробовал. Суинберн, Теннисон, Киплинг и другие великие поэты – они пробовали, и у них выходило. Ему вспомнились его «Ловцы жемчуга». Он

ведь никогда не пытался изобразить, словами ту красоту, которая жила в нем. Если бы он сделал это, рассказ принял бы совершенно другую окраску. Ему стало почти страшно при мысли о том, сколько прекрасного он мог бы описать; а воображение несло его дальше, и он вдруг подумал: почему бы ему не выразить всю взволновавшую его красоту в стихах, звучных, благородных стихах, как это делают великие поэты? Выразить хотя бы его любовь к Руфи, таинственное наслаждение и духовную высоту этой любви. Почему он не может сделать то, что делают поэты? Они поют о любви. И он будет петь!

– Тысяча чертей!

Это восклицание как удар грома прозвучало в его ушах. Увлеченный мечтами, он произнес его вслух. Кровь бросилась ему в лицо, и он покраснел до корней волос под бронзовым загаром.

– Я… я… простите, пожалуйста, – прошептал он, – я… задумался…

– Вы сказали это таким тоном, как говорят: «я молился», – храбро попробовала она пошутить, но внутри у нее все дрожало.

В первый раз и жизни она услышала проклятие в устах знакомого ей человека и была глубоко потрясена не только потому, что это оскорбило ее слух и чувство благопристойности, – ее испугал резкий порыв ветра, ворвавшийся вдруг в ту заботливо укрытую теплицу, в которой протекала ее юность.

И все же она простила его, и сама удивилась своей снисходительности. Его почему-то было нетрудно прощать. Условия жизни не позволили ему быть похожим на других людей, но он старался исправить это и уже достиг очень многого. Ей не приходило в голову, что есть и другие причины, еще проще объясняющие ее снисходительность. Руфь испытывала к Мартину настоящую нежность, но сама не догадывалась об этом. Да она и не могла догадаться. Она спокойно прожила свои двадцать четыре года, ни разу не испытав даже легкого любовного увлечения, не умела разбираться в своих чувствах и, не имея понятия о согревающем пламени любви, не понимала, что это любовь согревает ее теперь.

Глава 11

Мартин снова принялся за своих «Ловцов жемчуга» и, вероятно, очень скоро бы кончил их, если бы его не отвлекало желание писать стихи. Это были любовные стихи, вдохновительницей которых являлась Руфь. Но ни одного стихотворения он не мог закончить. Нельзя было овладеть в короткий срок благородным искусством поэзии. Ритм, метр, общая структура стиха сами по себе представляли достаточные сложности, но, помимо всего этого, было еще нечто неуловимое, что он находил в стихах великих поэтов, но чего никак не мог вложить в свои собственные. Это был неуловимый дух поэзии, который никак не давался ему. Мартину он представлялся каким-то сиянием, вьющимся огненным туманом, который всегда разлетался при приближении к нему, и в лучшем случае удавалось поймать лишь клочья, сложить отдельные красивые строки, которые звучали в его мозгу как музыка или проносились перед глазами призрачными видениями. Это было мучительно. Прекрасные чувства просились на язык, а выходили прозаические, обыденные фразы. Мартин вслух читал себе свои стихи. Метр шествовал по всем правилам, с рифмами и с ритмом дело тоже обстояло благополучно, но не было, увы, ни огня, ни возвышенного вдохновения. Он никак не мог понять, отчего это происходит, и временами, приходя в отчаяние, возвращался к своему рассказу. Проза была более послушным инструментом.

Продолжая очерк о ловцах жемчуга, Мартин писал еще другие очерки – о морской службе, о ловле черепах, о северо-восточном пассате. Затем, в виде опыта, он попытался написать небольшой сюжетный рассказ и, увлекшись, написал вместо одного сразу шесть и разослал их в различные журналы. Он писал напряженно и плодотворно с утра до вечера и даже до глубокой ночи, за исключением тех часов, когда ходил в библиотеку или посещал Руфь. Мартин был в эти дни необычайно счастлив, его жизнь была полна и прекрасна, творческая лихорадка никогда не оставляла его. Радость созидания, которую прежде он считал привилегией богов, теперь и ему была доступна. Все окружавшее его – запах прелых овощей и мыльной воды, жалкая фигура сестры и насмешливая физиономия мистера Хиггинботама, все это представлялось каким-то сном. Реальный мир существовал только в его мозгу и те рассказы, которые он писал, были осколками этого мира.

Дни казались слишком короткими, – уж очень много было областей знания, в которые ему хотелось проникнуть. Он сократил время сна до пяти часов и нашел, что этого вполне достаточно. Он даже пробовал спать только четыре с

половиной часа, но все же с сожалением должен был вернуться к пятичасовой норме. Все остальное время он с восторгом посвящал своим занятиям, неохотно прерывал писание, чтобы заняться учением, учение – чтобы пойти в библиотеку; медлил покинуть штурманскую рубку науки и с грустью отрывался от чтения журналов, наполненных рассказами тех таинственных писателей, которые сумели пристроить свои произведения. Когда Мартин бывал у Руфи, то всякий раз, чтобы подняться и уйти, ему приходилось словно отрывать ее от своего сердца; а уйдя, он опрометью бежал по темным улицам, чтобы поскорее вернуться к книгам и потерять как можно меньше времени. Но труднее всего было закрыть учебник алгебры пли физики, отложить в сторону перо и тетрадь и решиться сомкнуть усталые глаза. Выбыть из жизни хотя бы на такое короткое время казалось Мартину ужасным, и его утешало только сознание, что через пять часов будильник снова разбудит его. Он потеряет только пять часов, а там пронзительный трезвон вырвет его из бесплодного забытья, и перед ним будет снова целых девятнадцать часов работы.

Между тем время шло, деньги у Мартина были на исходе, а гонорары пока что не поступали. Через месяц он получил обратно рукопись, отправленную им в «Спутник юношества». Отказ был написан в очень деликатной форме, так что Мартин даже почувствовал расположение к издателю. Но не то было с «Обозревателем Сан-Франциско». Прождав две недели, Мартин написал туда; еще через неделю – написал снова. В конце концов он отправился в редакцию, чтобы лично побеседовать с редактором. Но цербер в образе рыжеволосого юнца, охранявший двери, не допустил его до лицезрения столь значительной особы. В конце пятой недели рукопись была возвращена без всяких объяснении. Не было ни отказа, ни объяснительного письма – ничего. Так же были вскоре возвращены и другие рукописи, посланные им в крупные журналы Сан-Франциско. Тогда Мартин отправил свои творения в газеты восточных штатов, но не успел оглянуться, как получил их обратно, в сопровождении печатных отказов.

Та же судьба постигла и рассказы. Мартин перечел их несколько раз подряд, и они ему так понравились, что он никак не мог уяснить себе причины столь решительных отказов, пока не прочел в одной газете, что рукописи должны быть непременно переписаны на машинке. Все объяснилось. Редакторы, несомненно, были так заняты, что не могли тратить время на изучение неразборчивых почерков. Мартин взял напрокат пишущую машинку и целый день учился писать на ней. Он перепечатывал ежедневно все, что писал за день и постепенно перепечатал все свои прежние произведения. Каково же было его изумление, когда и перепечатанное стало возвращаться обратно. Лицо Мартина

приняло суровое выражение, челюсть больше выдвинулась вперед, и он упорно продолжал рассылать рукописи все по новым и новым адресам.

Наконец ему пришло в голову, что самому очень трудно судить о своих произведениях. Он решил испытать их на Гертруде и прочитал ей некоторые свои рассказы. У нее заблестели глаза и она сказала, с гордостью посмотрев на него:

– Это здорово, что ты пишешь такие штуки.

– Да, да, – отвечал он нетерпеливо. – Но ты скажи – тебе нравится?

– Господи помилуй! – воскликнула она. – Еще бы не нравилось. Меня так разобрало, что просто страсть!

Но Мартин видел, что не все в его рассказе вполне ясно сестре. Ее добродушное лицо выражало недоумение, он ждал.

– А скажи-ка, Март, – промолвила она после долгой паузы, – чем же это кончилось? Что ж этот парень, который так ловко чешет языком… что же – он женился на ней?

И после того как Мартин объяснил ей конец, казавшийся ему художественно оправданным, она промолвила:

– Ну да, вот и я так думала. Почему же ты прямо так не написал?

Прочтя Гертруде с десяток рассказов, он понял, что ей правятся только счастливые концы.

– Этот рассказ очень хороший, – объявила она, выпрямляясь над лоханью и со вздохом вытирая лоб красной, распаренной рукой, – только уж очень тяжело мне стало. Плакать захотелось. А кругом и так грустного много. Когда я слушаю про хорошее, мне и самой становится лучше. Вот если бы он женился на ней… Ты не сердишся на меня, Март? – спросила она с тревогой. – Может быть, мне это кажется, потому что я очень устала. А так рассказ – прелесть, ну просто прелесть. Куда ты думаешь пристроить его?

– Это уж дело другое, – усмехнулся он.

– Но если б удалось его пристроить, сколько бы ты за него получил?

– О, сотню долларов. Самое меньшее.

– Ого! Хорошо бы тебе удалось его пристроить!

– Неплохие денежки, а? – И он прибавил с гордостью: – Заметь, я это накатал за два дня. Пятьдесят долларов в день!

Мартину страстно хотелось прочесть свои рассказы Руфи, но он не отваживался. Он решил подождать, пока что-нибудь будет напечатано, – но крайней мере тогда она лучше оценит его старания. Тем временем он продолжал учиться. Ни одно приключение не казалось ему таким заманчивым, как это путешествие по неисследованным дебрям разума. Он купил учебники физики и химии и одновременно с алгеброй изучал физические законы и их доказательства. Лабораторные опыты ему приходилось принимать на веру, но его могучее воображение помогало ему видеть как бы воочию всякие химические реакции, и он понимал их лучше, чем студенты, присутствующие на опытах. Сквозь страницы учебников Мартин начинал постепенно прозревать тайны природы и мира. Раньше он воспринимал мир как нечто данное, теперь он начал понимать его устройство, игру и соотношение сил, строение материи. Его ум постоянно стремился объяснять теперь давно знакомые вещи. Рычаги и блоки сразу привели ему на память лебедки и подъемные краны, с которыми ему приходилось иметь дело на море. Теория навигации, дающая возможность судам не сбиваться с пути в открытом море, стала вдруг простой и попятной. Он постиг тайну бурь, дождей, приливов, узнал причину возникновения пассатных ветров и даже подумал, не слишком ли рано написал он свой очерк о северо-восточном пассате. Во всяком случае он чувствовал, что теперь мог бы написать его лучше. Однажды он отправился с Артуром в университет и, затаив дух, с чувством религиозного благоговения смотрел на производимые в лаборатории опыты и слушал профессора, читавшего студентам лекцию.

Но Мартин не забросил своих литературных занятий. Мелкие рассказы так и текли из-под его пера, и он еще находил время писать стихи – вроде тех, которые печатались в журналах; потом вдруг закусил удила и в две недели написал трагедию белыми стихами, которую, к его изумлению, немедленно

забраковали с полдюжины издателей. Однажды, начитавшись Гэнли, он написал целую серию стихов о море, по образцу «Поэм с больничной койки». Это были простые стихи, светлые и красочные, полные романтики и боевого духа. Мартин назвал их «Песни моря» и решил, что это самое лучшее из всего им написанного. В серии было тридцать стихотворений; он писал по одному в день, по окончании своей дневной работы над прозой – работы, на которую иной модный писатель затратил бы целую неделю. Но для Мартина труд сам по себе ничего не значил. Он обрел дар речи, и все мечты, все мысли о прекрасном, которые долгие годы жили в нем безгласно, хлынули наружу неудержимым, мощным, звенящим потоком.

Мартин никому не показал своих «Песен моря» и никуда не послал их. Он потерял доверие к редакторам. Впрочем, не из недоверия воздержался он на этот раз от посылки своего творения. Оно было исполнено для него такой красоты, что ему хотелось поделиться им с одной только Руфью, в тот блаженный миг, когда он осмелится, наконец, прочесть ей свои произведения. А до тех пор он решил держать их при себе, читал и перечитывал вслух, пока, наконец, не выучил наизусть.

Он интенсивно жил каждое мгновение, когда бодрствовал, и продолжал жить даже во сне; его сознание, протестуя против вынужденного пятичасового бездействия, продолжало развивать все передуманное и пережитое за день, рождая невероятные и нелепые грезы. Таким образом, он никогда не отдыхал, и на его месте другой, менее крепкий телом и менее здоровый духом, давно бы свалился с ног. Его свидания с Руфью становились все реже и реже: приближался июнь, в начале которого она должна была сдать экзамены и получить университетский диплом. Бакалавр искусств! Когда Мартин думал об этом звании, ему казалось, что Руфь улетает от него на такие высоты, где ему уже не достичь ее.

Один день в неделю Руфь все же посвящала Мартину, и он обычно в этот день оставался у Морзов обедать и после обеда слушал музыку. Это были его праздничные дни. Вся атмосфера дома Морзов была так не похожа на ту грязь, среди которой жил Мартин, а близость Руфи так окрыляла его, что всякий раз, возвращаясь домой, он мысленно давал себе клятву достичь этих высот во что бы то ни стало. Несмотря на неуемный пыл творчества и жажду красоты, томившую его, он в конце концов трудился только ради любви. Он прежде всего был влюбленным и все остальное подчинял своей любви. Его любовные искания были для него важнее всяких духовных исканий. Мир казался ему удивительным

вовсе не потому, что состоял из молекул и атомов, взаимодействовавших по каким-то таинственным законам, – мир казался ему удивительным потому, что в нем жила Руфь. Она была чудом, о каком он никогда раньше не знал, не мечтал и даже не догадывался.

Но Мартина все время приводило в отчаяние расстояние между ними. Она была бесконечно далека, и он никак не мог придумать, что сделать, чтобы приблизиться к ней. Прежде он обычно пользовался успехом у женщин и девушек своего класса. Но он никогда не любил их, а ее он полюбил. Дело было не в том, что Руфь принадлежала к другому классу. Его любовь вознесла ее превыше всех классов. Она была особым существом, настолько особым, что он не знал даже, как подойти к ней со своей любовью. Правда, расширив свой кругозор и научившись правильно говорить, он все же приблизился к ней, у них появился общий язык, общие темы, вкусы и интересы, но любовная жажда этим не удовлетворялась. Его воображение влюбленного наделило ее такой святостью, такой бесплотной чистотой, что исключило всякую мысль о телесной близости. Сама любовь отдаляла ее и делала недоступной. Сама любовь отнимала у него то, чего он так страстно желал.

И вот, в один прекрасный день, через бездну, их разделявшую, на мгновение был перекинут мост, и после этого мгновения бездна уже не казалась такой широкой. Они сидели и ели вишни, большие черные вишни, сок которых напоминал терпкое вино. И после, когда она стала читать ему «Принцессу», он заметил следы вишневого сока у нее на губах. На мгновение ее божественность поколебалась. Она была телесным существом, ее тело было подчинено тем же законам, как и его тело, как тело всякого человека. Ее губы были так же телесны, как и его, и вишни оставляли на них такие же следы. А если таковы были ее губы, то такова была она вся. Она была женщина; женщина, как и всякая другая. Эта мысль поразила его, как удар грома. Это было для него настоящим откровением. Он словно увидел солнце, падающее с неба, или присутствовал при кощунственном осквернении божества.

Когда Мартин вполне уяснил себе смысл этого открытия, он почувствовал, как сердце заколотилось у него в груди, побуждая его домогаться любви этой женщины, которая вовсе не была духом, слетевшим с неба, а обыкновенной женщиной, с губами, запятнанными вишневым соком. Он содрогнулся от этих дерзких мыслей, но разум его и сердце ликовали и убеждали его в его правоте. Должно быть, Руфь почувствовала эту внезапную перемену в настроении Мартина, так как вдруг перестала читать, взглянула на него и улыбнулась. Его

взгляд скользнул по ее лицу от голубых глаз к губам, где виднелись следы вишневого сока – небольшое пятнышко, сводившее его с ума. Его руки потянулись к ней, как часто тянулись к другим женщинам раньше, в дни беспутной жизни. Она как будто склонилась к нему и ждала, и Мартину пришлось напрячь всю свою волю, чтобы сдержаться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/dzhek-london/martin-iden-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить